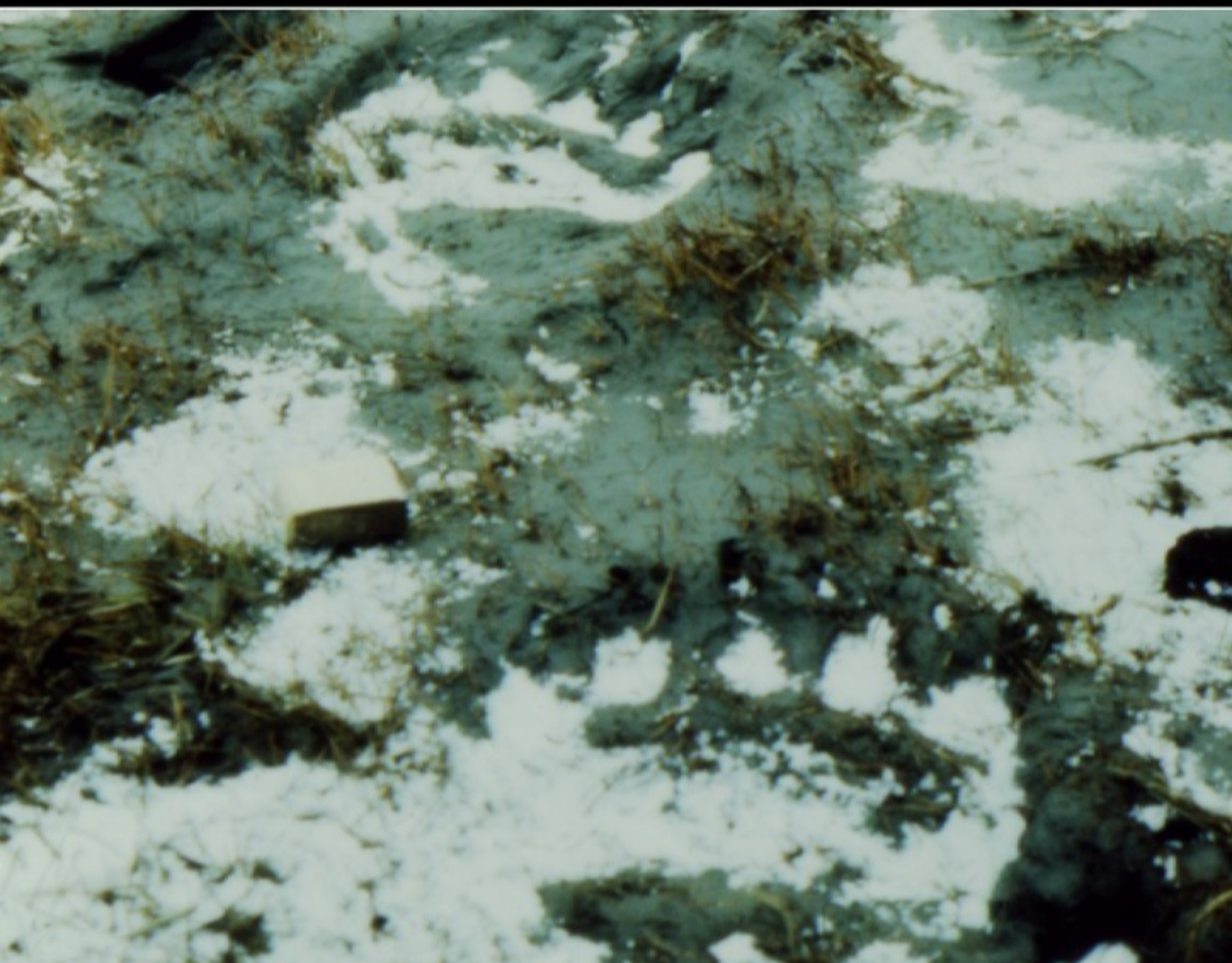


Сергей Смирнов

*На границе
стихий*



Сергей Смирнов

На границе стихий. Проза

«Издательские решения»

Смирнов С.

На границе стихий. Проза / С. Смирнов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-838809-5

Проза классического стиля. Книга о жизни чукотских и колымских Северов последней трети XX века. Возвращение в 1941 год, сегодняшний взгляд. Афганская и чеченская трагедии. Не забытая страна — рассказы об эпохе «застоя». Автор Сергей Смирнов. 530 стр.

ISBN 978-5-44-838809-5

© Смирнов С.
© Издательские решения

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ОТ АВТОРА	7
СЕВЕР БЕЗ НОСТАЛЬГИИ	8
ПЕЛЬМЕНИ ПО-ЧУКОТСКИ	8
ПЁСЬЯ ДЕНЬГА	17
ПРИГОТОВЬТЕ СЕВЕР ДЛЯ МИНИСТРА	22
ЗНАКОМСТВО	30
МАРАФОНЦЫ	37
ПРИЮТ ОХОТНИКОВ	49
А ПОМНИШЬ, СЕРЁГА?	57
КАК УМИРАЛ АСПИРИН	57
КОЛЫМСКИЙ ЗАКОН	57
ЛЮБОМИР	58
ШКВАЛ	59
КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ	60
ДВА ПАТРОНА	61
ПОНЮХ ТАБАКУ	64
ОГНИВО	66
ТАК ПРОВОЖАЮТ САМОЛЁТЫ	68
Конец ознакомительного фрагмента.	76

На границе стихий

Проза

Сергей Смирнов

© Сергей Смирнов, 2017

ISBN 978-5-4483-8809-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



ПРЕДИСЛОВИЕ

Геология и литература живут по общим законам. И та, и другая не терпят суеты. И писатель, и геолог отправляются в дорогу без каких-либо гарантий на успех, без надежды на «быстрые деньги». Можно пройти сотни километров по буреломной тайге и ничего не найти. Можно исписать сотни страниц и не найти издателя, больнее того – можно самому разочароваться в написанном и сжечь рукописи (а они всё-таки горят). Случалось в геологии, когда палили в землю из двух стволов золотым песком и выдавали участок за богатое месторождение. В литературе подобные трюки случаются намного чаще, потому как химическому анализу она не поддается, зато существует тьма посредников, умеющих выдавать пустую породу за драгоценный металл.

Геолог Сергей Смирнов сел за письменный стол взрослым человеком с трезвым взглядом на жизнь, поэтому не надо искать в его рассказах восторженную романтизацию Севера. Прочтите «Пельмени по-чукотски» или «Путь в архипелаг» и поймёте, почему его тексты долго вылёживались «в столе». Он не гнался за сиюминутным успехом, ему было важнее сказать правду.

Честную прозу издать трудно, но в отличие от прозы конъюнктурной она не скоропортящийся продукт.

Сергей Кузнецихин

ОТ АВТОРА

Большинство представленных в этой книге рассказов написаны более двадцати лет назад, когда и сам автор, и многие из прототипов были молодыми людьми, а те, кому было за сорок и пятьдесят, казались пожилыми и пожившими.

Вот и нам за шестьдесят.

И многих уже нет с нами...

...Да, проблемы Севера были другими, эпоха была сложна и противоречива. И всё же...

И всё же, мы, прожившие свои лучшие годы в той жизни и в тех местах, вспоминаем главное, когда чувства долга и локтя объединяли и спланивали нас, придавая силы в окружении северных стихий, которые не казались нам страшными или непреодолимыми, потому что все мы, кто хлебнул полярной романтики, были и останемся навсегда одной командой.

Я благодарен судьбе за знакомство и жизнь бок о бок с этими людьми. К ним, далёким теперь, отношу я и себя самого, и хочу, читая книги о Севере, хотя бы на время заглушить свойственную северянам ностальгию.

Где же то место, пласт, сфера, куда уходят души романтиков, бродяг, первопроходцев Севера?

Великая Отечественная война, Афганистан, Чечня. Память современников и поколений... Кто-то пишет «новую» идеологически приукрашенную историю, кто-то из участников боевых действий не хочет переживать их заново, вычёркивает из своей жизни. Может быть, это их право...

Автор не пытался восстановить в военной прозе историческую правду или расставить какие-то акценты, осуждая одних и обеляя других. В мирное время невозможно примерить эту мерку на себя. В повести «Взятие Бахтинки. 1941» приведена последняя страничка последнего письма красноармейца Дмитрия Павловича Бурдасова. Это подлинное свидетельство того времени, тех человеческих настроений, той Великой Отечественной...

Мне хотелось высказаться, рассказать о том, что же думает о мире и о себе поколение 50-х. Конечно, моё мнение не всеобъемлюще. Это всего лишь попытка сделать это.

У Виктора Конецкого есть определение вдохновения, – это ощущение приближения к истине.

Это чувство автор и испытывал, работая над этой книгой.

...Нельзя было не написать, но и напечатать непечатные рассказы тоже было почти невозможно.

Любой рассказ, очерк, короткая заметка – есть временной знак. За несколько десятилетий писания «в стол» накопились такие знаки-рассказы, разные по теме, размеру, «крепкости», по месту и времени их написания. Автор старался минимально править их, готовя эту книгу. Самому старому – более тридцати лет.

Автору показалось, что можно включить их в этот том.

Менялась страна, менялся, видимо, и взгляд автора. Судить об этом тебе, читатель.

Искренняя благодарность всем, кто взял на себя труд прочесть эту книгу.

СЕВЕР БЕЗ НОСТАЛЬГИИ

ПЕЛЬМЕНИ ПО-ЧУКОТСКИ

*Безвременно ушедшему Константину
Воскресенскому*

С середины августа погода сломалась: зарядили дожди со снегом и просто снег без дождя, небо спустилось к самой земле, и его разорванная серая плоть клочьями неслась над побелевшей тундрой. Ручьи наполнились мутной стремительной водой, выхлестывающей на поворотах из обложенного сползшей дерниной русла, сырой пронизывающий ветер мотался по долинам, трепал пожухлую траву, намокшие перья из разорённых птичьих гнезд и набухший брезент палаток, – не было конца его полёту. Вместе с ветром летел снег, падал, набивался во все щели и углубления, таял, и снова падал, и летел, и снова таял.

Так продолжалось две с лишним недели, и ровно семнадцать суток, чадила и коптила, почти не переставая, жестяная печка с продавленными боками, пуская из покосившейся трубы короткие пунктиры искр, ослепительных на фоне чернильных снеговых туч.

За эти семнадцать суток махрового безделья шлиховой отряд, состоящий из Кеши, Паши и Фёдора Ивановича Шаляпина, истрепал две колоды карт, выкурил ящик папирос и успел опухнуть от нездорового сна и бесконечного чая. Уже все было переговорено, начиная со счастливого детства и кончая нынешним неудавшимся сезоном.

«...будь она неладна, эта погода, план по шлихам уже не выполнить, и никто, конечно, не сделает скидки на метеоусловия, и в коридорах экспедиции опять, как после каждого сезона, будут большие разговоры, что шлиховой отряд опять не дал плана, ох уж эти романтики, всегда у них погода виновата, а у других, наверно, южный берег Крыма, и продукты вовремя, и почта, и забрасывают, и с лагеря на лагерь перевозят тоже вовремя...».

И так они день за днём перемалывали одно и то же, и каждый раз заново переживали, а потом кто-нибудь, Кеша или Паша, выглядывал наружу, шурша обледеневшим брезентом, и долго смотрел куда-то и крутил головой – что там на небесах? – а кто-то обязательно кричал, что надо двери закрывать, что на дворе, чай, не май-месяц и, возможно, даже кидал чем-нибудь в ватный выставленный зад. И каждый раз наблюдатель, вползая в дымное и холодное нутро палатки, делал загадочный вид, протыкал заскорузлым пальцем дым очередной папиросы и начинал:

– По-моему, что-то происходит...

Но ничего не происходило. Палаточная крыша вздувалась и опадала, как бока большого уставшего животного, тяжёлая кожа-брезент провисала между рёбрами.

Фёдор Иванович по поводу погоды не высказывался, но тоже частенько выбирался наружу и, обтерев слезящиеся от постоянного дыма глаза, подолгу простаивал на раскисшем снегу, оглядывал близкий нечёткий горизонт, прищурившись, высматривал что-то, – и иногда ему везло: облака расступались, открывая недалёкую перспективу низменности, уходящей куда-то вверх, в небо, где чёткими штрихами висели едва различимые силуэты гранитных останцов, «каменных людей».

Налетал ветер, заделывал облачную брешь, и Фёдор Иванович опять смахивал наворачивающую слезу и, постояв немного, возвращался в палатку, начинал шуровать в печке, откуда сразу же вылетало пахнущее дёгтем облако серебристой золы и, поскольку сам он ничего не произносил, кто-нибудь не выдерживал:

– Как там?

– Опять балбесов разглядывал? – добавлял Паша. – Смотри у меня!

– Угу... – думая о своём, бурчал Фёдор Иванович.

Безделье и непогода угнетали его, скучным и ненужным становилось зябкое взвешенное существование, напоминающее неуклюжее и замедленное шевеление коллекционного жучка в коробочке, пришипленного к вате. А ведь где-то там, далеко и наверху, стояли «каменные люди», прикрыв от солнца тяжёлые шелушащиеся веки, молчаливые и потому мудрые. Они, казалось ему, прошли на земле свой положенный путь, пока не остановились на самой высокой горе, где всегда было солнце, а ветер сух и неприметен.

Вот только что они оттуда видели, кроме его крохотной фигурки, Фёдор Иванович не мог представить, ему очень хотелось увидеть это самому, – ведь связь с ними, с «балбесами», уже была установлена, они звали его к себе. Однако, путь его ещё не был закончен, он, видимо, не заслужил ещё покоя и солнца, и не мудрость, а усталость пока тяжелила ему веки.

«Не пустит, – думал Фёдор Иванович. – Ему бы только карты месить, да о похождениях своих рассказывать. Как у них просто всё: работа – это не волк, десять лотков отмыли – хорош на сегодня, есть норма! Снег выпал – ещё лучше, отмели, косы под воду ушли, – глаза под лоб и на боковую, в тряпки. И спят часов по двенадцать воронкой кверху. Ах, эта бессонница! Ведь могут и по пятнадцать...».

Нет, о том, чтобы отпроситься у Пашки на денёк, сходить через две реки, в непогоду, к каменным останцам, он даже не думал.

«Куда там, ни за что не пустит», – так размышлял Фёдор Иванович, переворачивая в печке сырые тлеющие поленья...

А потом, – ну, что потом! – чертилась новая пулька, или Фёдор Иванович доставал свой обшарпанный фанерный чемодан, называемый в обиходе «кейсом», на который он с особым удовольствием и грохотом вываливал костяшки домино. Играл Федор Иванович профессионально, с чувством и расстановкой, была это такая же работа, как и всё, что должен выкопать, скайлить или перетащить рабочий съёмочного отряда.

Начальник Паша, перебирая кости, больше помалкивал, равнодушно считал очки и так же равнодушно мешал костяшки, ему не нравилось проигрывать.

Кеша быстро заводился, лихо бил в фанерное дно чемодана и азартно кричал «гитлера давай!».

Иногда они пели, пригубив «розовой воды», тогда уж шаляпинский баритональный бас звал их души за собой.

– Сла-авное мо-оре, священный Байкал!

Мороз продирает по коже от шаляпинского баса. Вот только слишком отчетливо ощущалась тогда нехватка женского общества, кое-где свербило. А так, джин сидел в своей бутылке и особенно не вякал, глазки строил.

Было у них и несколько обязательных ежедневных занятий, которые Фёдор Иванович, как самый старший по возрасту, называл казённым словом «жизнеобеспечение»: тепло – «Ну, кто сегодня пилу точит?», питание – «Тушёнки-то три банки осталось!» и связь.

– Избг`анник, избг`анник, я избг`анник один, – картавил Паша в микрофон. – Мать твою... – добавлял он, отпустив тангенту.

Эфир трещал и свиристел, и на всей земле не было порядка и солнца.

Спать они ложились рано, набив жестяную печку мокрыми дровами и развесив вокруг нее сырую тяжёлую одежду. Паша первым забирался в спальный мешок, как бы показывая собственным примером, что сейчас положено делать, тушил слабый огонёк керосиновой лампы. Некоторое время все трое возились, устраиваясь, сопели, разыскивая в темноте оторванные завязки и нагревая пропитанный влагой спальник, замирали там, чувствуя, как выходит, вытекает из них тепло, покалывает в суставах. Сквозь мрак подступали тогда незнакомые, усилен-

ные тишиной звуки: течение близкой воды, царапанье ветра в низкорослом кустарнике и шипение холодных углей за жестяной дверцей...

На восемнадцатый день Фёдор Иванович проснулся среди ночи от невнятных голосов. Спросонья никак нельзя было разобрать, кто, что и почему. Обрывая завязки, он испуганно вскинулся и понял, что это бормочет треклятая рация.

– Фу, ты, – вытер Фёдор Иванович вспотевший лоб, – ититская сила.

Потусторонние голоса, искаженные ночной атмосферой, дырявили тишину, выплескиваясь из микрофона, словно морские волны.

– Где стоишь, стоишь где? – рокотал механический бас.

– Бу-бу-бу, – ответил эфир.

Понял, понял. Завтра принимай практикантов. Завтра вечером. – Фёдор Иванович узнал голос Сухова, главного геолога.

Бу-бу.

– Он мне сотню должен, – сказал Паша, – еще с прошлой осени.

– Два, две, двое... Студентки, сту-ден-тки... девушки, – Сухов там, видимо, покраснел уже от этих «девушек», потому что заявлял сейчас об этом всем полевым подразделениям, раскиданным в радиусе пятисот километров, торопился и не знал, как сказать попроще, покороче.

– Сотню?.. – переспросил Кеша с интересом. – Какую сотню?

– Бу-бу. Пью-у-у. – Рация замолчала.

– Ты пельмени по-чукотски ел, Иннокентий? – спросил Паша.

– Не-ет, – Кеша лежал в мешке, торчали только стоящие дыбом волосы. – А при чем здесь пельмени?

– А где и том, что практиканток на восемнадцатую линию повезут. А это где, понял? – Паша выключил рацию и перед тем, как прикрутить фитиль, посмотрел на Фёдора Иваныча долгим взглядом, в котором читалось превосходство молодого и сильного над немолодым и слабым.

– Понял, – ответил Кеша из мешка.

А Фёдор Иваныч молча полежал, потом нашарил папиросы и громыхнул спичечным коробком. Немного погодя окурочек прочертил в темноте оранжевую траекторию, из мешка послышался тихий смех, и всё стихло до утра...

После завтрака Паша свернул толстенную самокрутку, задымил, как камчатский вулкан, и кинул:

– А что, Кеша, не посетить ли нам тестя нашего, товаг`ища Сухова?

Кеша деловито достал топоснову, померял спичечным коробком.

– Для бешеной собаки это не крюк.

Махорочный дым медленно колыхался и уползал в сторону выхода. Фёдор Иваныч сложил грязную посуду в ведро и полез в спальный мешок досыпать, а Паша с Кешей, по очереди макая бритву в горячий чай, побрились, переоделись в болотники и, мешая друг другу, полезли наружу.

– Гитару забыли, – сонным голосом сказал Фёдор Иваныч, – кентавры...

Кеша вытащил из-за печки старенькую гитару и стал заворачивать в плащ. Потом, немного подумав, оторвал красную матерчатую завязку от пробного мешка и привязал её к грифу, получился бант. Фёдор Иваныч завозился, выпростал руку за папиросой и сказал, мечтательно глядя в потолок:

– Помню, в молодости, велосипед всегда с собой возил, в деревне какой-нибудь станем, я гармошку к раме, в седло и покатил, обслуживал, так сказать, в радиусе дневного переезда...

– К чёрту, – сказал Кеша, – у нас серьёзно.

К месту они добрались часа через три с половиной, – плутанули по дороге и вышли к суховским балкам с противоположной стороны. В лагере было тихо и безлюдно, две печки

топили, – серый дым прижимало к земле ветром, пахло угольной копотью, как на запасных путях железнодорожного вокзала.

Шурфовщик дед Шанхиза, спустив с нар ноги в толстых вязаных носках с продранными пятками, громко зевнул, лязгнул железными зубами и пошел ставить чайник.

– Чего не сидится-то?

– Да так... – сказал Кеша, заведя глаза к потолку. Гитару он оставил снаружи.

Многозначительно помолчали.

– Циклон, говорят, аж с самой Аляски к нам пришёл, – сказал дед Шанхиза, глядя в окно и почёсываясь. Опять зевнул. – Радикулит вот разыгрался...

– А я рецепт знаю, – Кеша смотрел, как по оконному стеклу медленно ползёт муха, доползает до определённого места и срывается, – берёшь сырое яйцо, кладёшь его в эссенцию...

Паша закурил и начал трясти под столом ногой.

– Как-как, говоришь? Яйцо?! В эссенцию?! – переспросил дед.

– Ну да. Когда яйцо полностью растворится, грамм сто масла туда и втирай, пока глаза на лоб не полезут.

– Всё хорошо, – огорчённо сказал дед, – только где теперь яйцо достать? Сейчас же не сезон.

– Ты ж ветеран, орденосец, по связи запроси, пришлют...

– А куда же остальные г`азб`елись? – не выдержал, наконец, Паша.

Дед всыпал в чайник пачку чая и ответил:

– Петька Краснов со товарищи трактор утопили, охотнички, вытаскивать поехали, к Медвежьему Логову... А вот и чай, не чай – человечище.

– Мясца бы сейчас неплохо, а, стаг`ый? – сказал Паша.

– Не бегают нынче мясо-то, от Петьки попряталось. Он до самого побережья все сопки прочесал. Пятую врубил и гонит, как ошалелый. Из пяти карабинов – считай, пятьдесят пуль. Трёх-четырёх возьмут, а десять подранков уходят, – гоняться—то за ними некому, самогон у Петьки – семьдесят градусов, тут же падают, снайперы хреновы.

– Что-то намуд`ил ты тут, дед, без мег`ы. У нас вон на том же Медвежьем, где останцы г`анитные, «кекуры», люди пачками пг`опадают, а ты – подг`анки! Ког`оче, мясо нужно позаг`ез! Для пельменей.

– По-чукотски, – добавил Кеша со знанием дела.

– Нету, родные, нету. Угощу я вас, возьмите вот настойки, раз в такую даль припёрлись. Золотой корень, без обману, на семидесятиградусной!

Дед Шанхиза, побряхтывая, прошаркал в угол и достал из хлебного вьючника тряпичный сверток.

– Мутняк го-орни-ий, – пропел дед.

Через окно было видно, что из соседнего балка вышла светловолосая девушка в телогрейке и, помахивая пустым ведром, спустилась к речке.

– Годится, – сказал Паша. – Спасибо. Давай еще чайку.

Дед сопя загремел кружками, а Паша, сунув бутылку в карман, не торопясь, загасил папиросу, встал и, не закрыв за собой дверь, тут же загремел сапогами по трапу.

Кеша с дедом Шанхизой молча пили-отхлебывали чай из дымящихся кружек ещё примерно с полчаса. Кеша прислушивался к звукам со стороны соседнего балка. Муха, упавшая в пустую кружку, звонко жужжала и мешала ему слушать.

– У нас на Рыгтынане, – начал, наконец, Кеша, – лиса живёт с лисятами...

– Кто там с кем живёт? – спросил, входя, Паша.

– Лиса-огнёвка, с этими... с...

– С евг`ажками, что ли?

– Ну, евражек-то мы давно уже съели!

– Чёг`т, действительно съели!

Глаза у деда Шанхизы медленно полезли на лоб.

...Они вышли из балка, точнее ссыпались по трапу, стуча сапогами, как молодые жеребцы, – и сразу завернули за угол, не было уже мóчи терпеть. Гитара была на месте, ветер трепал красный бант, а запах угольной гари не напоминал больше тоскливую заброшенность тупиковых путей узловой станции.

– Всё в пог`ядке, – сказал Паша, – идём в гости пить чай.

– Чай?.. Опять!?! – переспросил Кеша.

Практиканток звали Таня и Рита. Нары были застелены синими казёнными одеялами с чисто женской аккуратностью. На столе у окна из бутылки торчали крохотные цветы полярной гвоздики, рядом звонко тикал будильник.

Залоснившиеся свои телогрейки Паша с Кешей выбросили за дверь, в тамбур, но снимать грязные сапоги наотрез отказались, – портянки месяц не стираны, – и неловко переступали у порога. Рита, невысокая угловатая девушка, бросила им мокрую тряпку. Паша сел у двери на вьючный ящик, а Кеша, как человек с гитарой, на единственный табурет.

Тряся каштановыми кудряшками, Таня всю гремела кружками, ежеминутно одергивая пёстрый халатик и поправляя очки на остреньком носике. Она несколько раз открыла и закрыла стол, вышла зачем-то в тамбур, спросила Риту, где хлеб, где джем и «куда ты дела чайник?». Видно было, что всё лежит и стоит на своих обычных местах и что настоящая хозяйка здесь Рита.

Сначала разговор никак не клеился, и они долго, по десятому, – или сотому? – разу обсуждали циклон, пришедший «с самой Аляски», потом Кеша начал что-то про работу, но Паша, перебив его и возбужденно похохатывая, рассказал анекдот про то, как геолог пришёл к начальнику метеостанции узнать, холодная будет зима или тёплая. Заспанный начальник долго чесался, прикидывал что-то в уме, потом просветлённо вскинулся, подбежал к окну и, раскрыв форточку, сказал:

– Видишь, чукча хворост собирает? Значит, холодная.

Анекдот попал в струю, все облегчённо посмеялись, а тут и чайник закипел. Таня бросилась заваривать, и все внимательно смотрели, как она кладёт чай маленькой ложечкой и режет хлеб прозрачными ломтиками.

– Как-то это не по-полевому, – съязвил Паша.

– А мне и не надо... по-полевому. Это вы всё на коленке режете, – кивнула она на засаленные брезентовые пашины штаны. – Огромными кусками.

Паша штанами своими гордился, ни у кого таких не было, от добротного лесорубного костюма.

– Большому куску г`от г`адуется! – парировал он.

– Большой рот! – добавил Кеша. – И мы приглашаем вас на пельмени. По-чукотски.

– А как это – по-чукотски? – спросила Рита.

– Вот пг`идёте – узнаете!

– А отец у меня, между прочим, геолог, – Таня произнесла фразу с явным вызовом. – Главный геолог. – И выдержав паузу, добавила: – В одной африканской стране.

Кеша взял гитару, провёл по струнам пальцем. Гитара совсем не строила.

– У нас три поколения геологи, – сказал он. – Дед ещё в двадцатых годах начинал. Я его отчёты читал, последний – тридцать пятого года.

– А почему последний? – Рита, видимо, любила задавать вопросы.

– Что – почему? Непонятно, что ли?

– Он умер потом, да?

Рита взяла кружку и начала осторожно в неё дуть.

– Может, и умер, не знает никто.

– По-моему, так не бывает, – Таня прикурила от зажигалки и выпустила клуб дыма в сторону Паши. Ему пришлось отмахнуться от него рукой. – Должны были похоронку прислать!

– Как же, как же! – издевательским тоном сказал Паша. – И г`об с телом героя на матеги`к пег`епг`авить. На лафете! Дощечку с номеги`ом тут ставили, на могиле глубиной в полметга – и всё!

– Этого не может быть, – невозмутимо изрекла Таня.

– Да ладно вам, – сказал Кеша, – вот вам другой разговор.

И запел песню про двух бичей, которые сидят в заваленной снегом палатке и вспоминают, как ходили в Москве в театр, а там был буфет с пивом, а здесь одни некультурные бичи с домино и преферансом.

– На ящик водки – банка шпрот, вот натюрморт! – орал Кеша, лупя изо всех сил по струнам.

Потом в песне бичи заговорили про горячую воду из крана, про фикус, эстамп и развод, и оставленных на материке жён и милых дам, которым один привёз снегу в чемодане, а другой «в бутылке утренний туман», за что первый бич тут же обозвал его болваном, тот ответил «брезентовым профаном» и получил:

– А сам не мылся десять лет! Ну, ферт!

Кеша перестал кричать и тихо поведал, что через пять дней спустился, наконец, вертолёт, бичей накормили, помыли и опять послали в поле, «ещё на год».

Девушкам эта песня показалась очень весёлой, Таня даже поперхнулась дымом и, согнувшись, долго кашляла, продолжая смеяться.

Обстановка как-то разрядилась, они о чём-то ещё поговорили, глядя в приоткрытую дверцу печки, где слабо трепыхался синеватый огонь, спели даже одну общеизвестную песню, но со словами было плохо, а на чай налегать было – опасно, поэтому Паша с Кешей, напомнив про приглашение и распрощавшись, выскочили в плотный сырой сумрак и тут же завернули за угол.

– О-о, – простонал Паша, – наконец-то!

...Проснулись они от настойчивого шума воды, – в горах таял снег, и река неслась мимо палатки серой морщинистой лентой, выплёвывая к порогу хлопья грязно-жёлтой пены. По брезенту дробовыми зарядами хлестал дождь.

– Ого, – сказал Паша. – Полундга. Пг`идётся лодку с собой бг`ать.

– На себе тащить? – с тоской спросил Кеша.

– Надутую потянем. Надутая легче.

Они быстро собрались, а Фёдор Иваныч, выставив из мешка нос уточкой, курил и с интересом наблюдал за сборами.

– Рейнджеры, ёполтак, зелёные береты, – закашлявшись, сказал он, – бейте в глаз, чтоб шкуру не попортить.

– Молчи, Шаляпин. Чтоб к обеду тесто замесил!

– И баню натопил!

Фёдор Иваныч щёлкнул окурочек к печке и спрятался в мешок с головой.

– Бедные, бедные твари... – послышалось оттуда.

Резиновую трёхсотку тащили по очереди. По снегу она шла с шорохом, по мокрому кустарнику – с визгом и скрипом. В лодке лежало два ружья, вёсла и оцинкованное ведро, время от времени позвякивающее дужкой.

Выглянуло внезапно солнце, осветив мокрую искрящуюся тундру. Казалось, она выпнет сейчас мохнатую спину и отряхнётся, как собака. Плоские невысокие облака проносились над

ней, задевая вершины таких же двухмерных холмов, между которыми в мелких берегах петляла река, смывая косы и унося вниз, к морю, редкие золотые песчинки.

Засвистели крыльями, зачирикали-запели какие-то мелкие птахи. Где-то далеко призывно закричал журавль, кто-то ответил ему, а рядом, в зелёной прибрежной траве два раза крякнула шилохвость.

– Вот они, норы, – задыхаясь после быстрого шага, сказал Кеша. – Покурим?

Пока они курили, засев в низкорослом кустарнике полярной ивы напротив песчаного бугра, изрытого лисьими норами, снова заморосил мелкий, пробивающий одежду дождь.

– Хг`ен они теперь вылезут...

– Кто, Рита с Таней?

– Да какие Г`иты, какие Тани! – выкрикнул Паша, с досадой разглядывая мокрый бугор.

«Ну, завелся начальник. Азартный!» – с уважением подумал Кеша.

Он уже раньше видел огнёвок на этом бугре, целый выводок: облезлая мамаша и два щенка с набирающими цвет и объём шубками.

«Неужели стрелять будем!? – с ужасом думал Кеша. – Если столько прошли – значит, будем...».

Паша смотрел на бугор с таким же тоскливым лицом.

– Слушай, на кой чёг`т нам эти... бабы. – И, затянувшись, добавил: – Без пельменей обойдутся!

– Конечно, да и эти вряд ли... вылезут... – осторожно поддакнул Кеша.

– Ну, пошли тогда, посмотг`им...

Они перешли речку вброд и взошли на бугор. Везде виднелись вывалы жёлтого песка и чёрные дырки нор.

– У них навег`няка есть запасные выходы, – с надеждой сказал Паша.

– Ну да, как в театре, – быстро откликнулся Кеша.

– Но мы их всё г`авно достанем!

– Давай водой зальём!

Кеша вспомнил книгу из детства, где отважные охотники заливали водой волчьи норы. Тогда было очень много волков, и все они питались овцами. Тогда с волками и боролись основательно.

– Хорошо, что я ведро в лодку кинул! Кидаю, знаешь, а сам думаю – зачем? Вот, оказывается, и пригодилось.

Кеша сбегал к лодке и, зайдя в ближайшее к бугру болотце, черпанул ведром.

Паша в это время зарядил оба ружья. Одно, курковое, положил себе под ноги, а с другим встал в позу стендового стрелка.

– Ну, мать вашу... Давай, Иннокентий!

Когда первое ведро с горловым урчанием ушло в нору, Кеша отскочил в сторону и долго и внимательно наблюдал за полем битвы.

Ничего не произошло. Тогда он сбегал за вторым и с шумом влил его туда же. Немного подождал и побежал за третьим.

Паша стоял, не шевелясь, как памятник охотнику, а Кеша бегал туда и обратно, скинув промокшую телогрейку. От него валил пар.

Потом они поменялись местами, потом ещё раз.

Добычи не было.

– Гитлег`а давай! – рычал Паша в азарте.

– Двести пятьдесят один! – бормотал, сбивая дыхание, Кеша. Вода кончилась, и ему приходилось глубоко вдавливать ведро в мягкое дно болота.

– Ничего, Иннокентий! Дуг`емаг`у больше вычег`пывать пг`ишлось!

Наконец, окончательно потеряв терпение, Паша выхватил из кармана рюкзака ракетницу и стал стрелять в плещущую в норах воду.

Битва проиграна. Огнёвки обманули их, заранее покинув затопленное паводком жилище.

Обессиленные, под морозящим дождем, охотники устроились в полусдутой резинке и стали резво отгребаться от берега, – путь неблизкий. Сначала течение было слабым, а потом, усилившись двумя притоками, подхватило, закрутило, понесло, и Паша с Кешей, увлечённые новым занятием, с гиканьем помчались вместе со стремниной, размахивая вёслами, как индейцы в пироге, и даже скатились с небольшого водопада, от чего настроение поднялось ещё выше. Лодка черпала воду мягкими бортами – «гондон!» – и задевала дно на перекатах – «камни, конец!». Но все это было им нипочём, как и мокрая одежда с сапогами, полными воды, – каждый в душе надеялся, что вот-вот покажутся из-за поворота две их сиротливые палатки, а возле них... – нет-нет, на той стороне реки, ведь лодки в лагере больше нет, чтобы перебраться, – на той стороне реки станут видны две женские фигурки в ярких лыжных шапочках (почему в ярких? почему в лыжных?)...

– Тог`мози, ё...

Лагерь они проскочили метров на двести, ручей со странным названием Рыгтынанвеем превратился здесь в ревушую вполне серьёзную реку со стоячими пенными гребнями поперёк русла.

– Ух, ты-ы...

Серая волна обдала их ледяной водой, вздыбила лодчонку, и они оба оказались в объятиях взбесившейся реки. Дыхание перехватило, под ногами была пустота, но резинка всё-таки не перевернулась, и они успели ухватиться за мокрые скользкие уключины. Выпучив глаза и открыв рты, Паша с Кешей, не сговариваясь, не в силах произнести ни слова, гребли к берегу, пока стрезень не сбросил их с себя, и они не почувствовали внизу опору.

Цепляясь скрюченными пальцами за траву, Паша с третьего раза первым выполз на берег, помог выбраться Кеше и втащил лодку.

– Ху-у! – выдохнули оба.

– Не хг`ена себе пельмешки!

– А мы не за хлебушком ходили?

Едва отдышавшись, изображая бег на негнущихся ногах, они, как орангутаны, ввалились, наконец, в палатку, оборвав в очередной раз завязки, и увидели, что она пуста.

Печка была ещё тёплой, и на ней, на двух камешках, стояла закопчённая кастрюля с крышкой, из-под которой свисал язык засохшего теста.

– А вот это действительно пельмени!

– По-чукотски! – уже с особым знанием ответил Кеша.

Несколько минут они катались по спальникам, регоча утробным смехом, не в силах произнести ни единого слова. Затем, похрюкивая, переоделись в сухое. Кеша раздул угольки в печке и подбросил в неё так, что через десять минут она была готова к отправке на околоземную орбиту, – огонь вылетал из раскалившейся малиновой трубы, и от этого над ней стояло морево. Паша притащил лодку, ружья оказались в ней, а ведро и вёсла унесло.

– А где же всё-таки наш певец? – мрачно и озабоченно заметил после этого Паша. – Не евг`ашки же его съели!

– Может, на охоту ушёл?

– С чем?

Они чифирнули, заварив в кружке целую пачку. Съели банку тушёнки без хлеба, после чего осталось ещё две, и, распаренные, вылезли наружу покурить.

Дождь прекратился. Серые ватные облака поднялись, уплотнились и сдвинулись к югу, открыв на севере узкую полоску розоватого неба. Надвигалась ночь.

Искры папирос сносило ветром, было холодно, но они стояли молча, повернув лица к догорающей заре, чувствуя на лбу и щеках её слабое тепло.

Когда последние лучи солнца, ушедшего за горизонт, отразились от облаков и осветили рассеянным светом промытую до последней складки низменность, Кеша ощутил неуловимые изменения, скорее даже флюиды или невидимые волны, заполнившие вдруг пространство, и принёсшие с собой чувство беспокойства. Тундра странным образом ожила, хотя никаких изменений Кешин глаз заметить не мог. Он подумал о Фёдоре Иваныче, да, вот так: где же Фёдор Иваныч? – не помня его настоящего имени, – ведь он где-то там, на этой пугающей равнине, среди этого неверного света, из которого в любой момент может появиться, выдвинуться...

– Медведь... – тихо, непослушными губами сказал он. – Ёп... Паша, медведь...

– А вон ещё один! – осклабившись, хохотнул Паша. – И вон! И вон! Их тут целое стадо! – радостно закончил он.

– Да? Где?

И Кеша действительно увидел, что тундра зашевелилась, задвигалась множеством тёмных вполне отчётливых силуэтов, самые ближайшие к ним тени оказались рогатыми... Да, да, это же...

– Олени! – облегченно выдохнул Кеша, а про себя подумал: «Мясо!», но вслух этого не сказал, потому что они весь день искали его, мясо для пельменей, но теперь он уже сомневался, что это вообще нужно было делать...

Ночью сквозь сон Кеша услышал знакомый басок Фёдора Иваныча, который рассказывал что-то про муку и евражек, а Паша картаво выговаривал ему злым голосом. Затем в палатку пролезло что-то мокрое, напевающее себе под нос арию из неизвестной Кеше оперы, остро пахнущее псиной и ношенными портянками, – это Шаляпин, сняв сапоги, шевелил в темноте созревшими пальцами, жмурясь, как кот, а потом нашарил за печкой коробок с сухими спичками, прикурил, осветив нутро палатки каким-то багряным мефистофелевским светом и, блестя глазами, пророкотал:

– Вам привет от «каменных людей», выюноши! У них там светло и чисто!

Он блаженно откинулся на спальник и пустил толстую струю дыма в провисший потолок палатки.

– Так жрать хочется! Ну, где ваши пельмени?

«Он же к балбесам своим каменным ходил, чокнутый!» – подумал Кеша и, не ответив Фёдору Иванычу, опять уснул.

ПЁСЬЯ ДЕНЬГА

*Однажды император российский, объезжая свои
северные территории, остановился на свежесрубленном мосту
через быструю речку,
наклонился через перила, заглядевшись на бегущую
воду, а из кармана у него выпал кошелек с деньгами,
и на дно. И генералы, и служки, и простые люди,
сопровождавшие его, бросились спасать
государевы деньги. Но император, недовольно поморщившись, лишь
махнул рукой в белой перчатке:
— Пёс с ней, с деньгой!*

Мишка Фирсов работал в аэропорту на автопогрузчике. Аэропорт был маленький, как и сам арктический посёлок, но работы хватало: в сутки два московских рейса, десяток местных, да спецрейсы ещё, да залётные. Мишке работа нравилась, авиация нравилась тоже, носил серебряную птичку на ушанке. Жил он с женой в аэропортовской гостинице, в маленькой комнатухе. Наталья тоже работала в аэропорту в метеобюро. На север она приехала сразу после техникума, молоденькая и глупенькая – потому, может, и приехала, что не понимала, куда едет. Правда, поначалу жилось ей весело и беззаботно: лётчики народ без предрассудков. Но где беззаботность, там и ветреность, и, угадав это, она удержалась от опрометчивых шагов, а в мелькании золотых дубовых листьев и нашивок углядела как-то маленькую Мишкину птичку, углядела и прочную земную профессию, и спокойный характер, а может и ещё что, чего другим вовек не разглядеть. Несколько лет жили они хорошо, чинно, душа в душу, потом как-то незаметно души их разъединились, и осталась одна чинность.

Так и пошло: Наталья в метеобюро, на верхотуре, а Мишка внизу, «зиллок» свой знай по территории гоняет. Летом с грузом, зимой полосу расчищает. Работа, конечно, не то, что у Натальи, но тоже нужная. К тому же времени свободного – навалом. Плохо только, что девать его некуда, нечем в посёлке заняться, особенно зимой в полярную ночь, – тут хоть волком вой. И то пробовал, и это – неинтересно, не тянет и всё. Ну и, понятно, прикладывался частенько с приятелями. Как без этого. Только бывало от этого ещё хуже: тут жена насмерть запиливала.

По пьянке кто-то надоумил его охотой заняться, понарасказал всяких баек да случаев, и с людьми и с животными. Мишка тут же купил ружьё и даже сходил пару раз на зимних куропаток, но охота оказалась делом хлопотным, не таким легким и весёлым, как в рассказах: ходьбы да беготни много, иногда и на пузе поползаешь, а толку чуть, – по полторы штуки на ствол, и жалость какая-то появилась по первости, потом ещё Наталья незаметное словцо кинула, – в общем, ружьё Мишка забросил и о нём почти не вспоминал.

И вот как-то раз, перед навигацией, когда самая бестоварная гнетуха, приходит к Мишке знакомый его, Иван, водитель с «газика», и прямо с порога, захлёбываясь, выкладывает, что спустили директиву провести мероприятия по ликвидации бродячих собак, и что Степан Филиппыч из исполкома попросил его, Ивана, разузнать, поспрашивать среди охотников, мол, может, кто и согласится пострелять от нечего делать. Дело-то добровольное, не каждый на собаку ружьё поднимет.

– Правильная директива, – кричал Иван, – хотя и жалко, конечно.

– Ну, жалко, – Мишка никак не мог понять, куда приятель клонит.

А тот, возбуждённо размахивая руками, сыпал дальше, что за эту, значит, работу председатель райисполкома даст записочку в пушной магазин, а та-ам, чего только нет!

Мишка и сам знал, что в «пушном» магазине охотники по справкам из «Заготпушнины» могли получить какой угодно дефицит, и даже импортную дублёнку.

– Ну-ну? – уже с интересом спросил Мишка.

– Тут я и говорю: есть у меня корефан! С ружьём! Обмывали-то, помнишь? И парень ты, говорю, что надо, свой в доску. В общем, бумажку он для тебя даст – разрешение. Сам понимаешь, мало ли дураков на свете, привяжутся ещё. Ну что, Михаил Петрович?

Светло-коричневая дублёнка, как живая встала перед Мишкиными глазами. «У Наташки дублёнка есть, с „материка“. Распитая вся – загляденье. А я в казённом рядом с ней – вахлак вахлаком...».

– Согласен!

– Ну, тогда с тебя пузырь, а я поехал.

Ударили по рукам, Иван вышел.

– Ваня, Ванька! – кричал Мишка в форточку, – Ты мне только сегодня разрешение-то привези! Понял? Сегодня! Я тогда в ночь и выйду!

На работу ему нужно было через сутки. В обычный-то день с тоски сдохнешь – нечего делать, а тут у Мишки получился праздник нежданно-негаданно: и пострелять – время убить, и полезное дело сделать, да ещё приобрести ценную красивую вещь. На «материке» вон за дублёнку горла рвут, а тут: справку получил, деньги-товар, и дело в шляпе, дублёнка твоя. «Если сейчас дублёнок нет, подожду, пока завезут, торопиться некуда», – думал Мишка. Так что пока всё складывалось удачно. Он обошёл соседей, разжился порохом, капсюлями, – гильзы, пыжи, свинец у него были, остались неизрасходованными, и сел заряжать патроны. Пороху досыпал чуть больше и хорошо трамбовал, как на крупного зверя. Из свинцовой пластины нарубил картечи, и тут подумал, что одному-то ему, пожалуй, не справиться, что хорошо бы напарника найти. Хотел уже идти опять к соседям охотникам, но вовремя спохватился: «А вдруг председатель одну записку на двоих даст?». Мишка представил себя в дублёнке, как на картинке, запах новой кожи и меха. «Да-а, тут свой человек нужен... Или незаинтересованный... Санька! Во! Как же я сразу не додумался?! Бутылку ему поставлю. Или две. Ещё и рад будет».

Санька работал в одну смену с Фирсовым рабочим на погрузке. Любил он выпить, был недалёкого ума и вполне подходил для задуманного Мишкой дела.

И точно, выслушав Мишкино предложение, особенно вторую часть его, Санька сразу засобирился, пришлось его даже слегка осадить, сказать, что пойдут сегодня, но в ночь, когда светло, как днём, а народу на улицах нет. Договорились на двенадцать, то есть на ноль часов. Напоследок предупредив напарника, чтоб не напился и не опаздывал, Мишка дошёл до магазина, купил три бутылки водки, вернулся домой и стал ждать Ивана.

Часов в десять вечера под окном раздался скрип тормозов Иванова «газика». В бумаге было сказано, что такой-то направляется на отстрел бродячих собак, кошек и пр. в связи с ухудшившейся санитарно-гигиенической обстановкой и постановлением райисполкома за номером таким-то от такого-то числа. Ниже стояла исполкомовская печать и размашистая подпись.

– Ну вот, теперь всё путём, по закону, а то действительно – мало ли что...

Пришла с дежурства жена. Мишка обстоятельно рассказал ей всё, на что она обозвала их, всех троих, пьяницами и живодёрами.

– А у Саньки, – сказала она, – у самого собачка есть, чёрненькая такая!

– Так она же на привязи, – не понял Мишка. – Домашняя! А ты вот знаешь, к примеру, – продолжал он, – как северные охотники ездовую породу берегут, чужаков и слабаков сразу под нож, даже пулю не тратят, пулю жалеют! Зато на свою упряжку всегда положиться могут! Как тебе? Всё по Дарвину!

Жена промолчала, ушла на кухню мыть посуду.

Так что Мишка на обвинения в живодёрстве совсем не обиделся, а даже посмеялся, потому что думал не о том, что придётся стрелять, и не в лесу, а прямо в поселке, как-то складывать, перетаскивать и, быть может, даже пачкаться в крови, а о дублёнке...

Без четверти двенадцать явился Санька. Он уже, видно, принял слегка на свою впалую грудь и смотрел орлом. Мишка перелил водку в плоскую коньячную бутылку, сунул её напарнику в карман, остатки они допили, закусив Натальиными котлетами, и вышли в солнечную арктическую ночь.

Ни Мишке, ни Саньке не приходилось никогда заниматься таким делом, и они долго решали, откуда им заходить и учитывать ли ветер. Чуть не поругавшись, плюнули, в конце концов, на охотничьи уловки и двинулись между домами.

И тут Мишка, шагая с ружьём наперевес, и забыв уже про опыт северных охотников, прозрел внезапно и испытал странное чувство боязни, перешедшей в панический страх: что, если увидит его сейчас кто-нибудь из знакомых, соседей, вышедшего на такое, – что ни говори, – пакостное дело, как будто собирается он преступить какую-то черту, за которую человеку – нельзя. И эта, неизвестно откуда взявшаяся, колом вставшая мысль, заставила его ступать мягче, бесшумно, как вору, и оглядываться, как настоящему преступнику.

Санька тоже, глядя на командира, согнул свою хилую спину, свесил длинные руки и шёл, настороженно озираясь.

«Я иду-у по У-уругва-аю! Ночь, хоть выколи-и глаза!» – Из раскрытого окна орал магнитофон.

«Страшно, но поздно. – думал Мишка. – Поздно, но страшно... возвращаться». И тогда он постарался загнать свой страх в самую глубину, на самое дно окаменевшей души. «Собака... – подумал он. – Собака – не человек». После этого решения, оказавшегося таким простым, шаг его сразу обрёл утерянную было решимость.

Мучительно долго пришлось им разыскивать прицельные объекты, пробираться по при тихшему посёлку от помойки до помойки, перелезая через «короба» и угольные кучи.

Как назло, ничего живого не попадалось. «Вот твари, почуяли, что ли?» – думал Мишка, сжимая ружьё, словно древко знамени на первомайской демонстрации, – не опустить и не передать.

Наконец, оба увидели большую рыжую собаку с сосульками грязи на брюхе, трусившую от них с прижатыми ушами и поджатым хвостом. Собака оглядывалась, косила глазом, и поэтому бежала как-то боком.

– Бей! – Одновременно с Санькиным воплем Мишка навскидку ударил дуплетом.

Ему показалось, что он увидел белые трассы, повисшие в воздухе, и почти физически, с новым приливом страха, ощутил, как обрубки свинца сначала образовали вмятины на рыжей шерсти, а потом медленно ушли куда-то вглубь и, проворачиваясь там, стали необратимо пробивать себе дорогу всё дальше и дальше, пока снова не вырвались на свободу и косыми траекториями уткнулись в землю.

– О-ох! – выдал Мишка. Да, тяжело ему было, давил ему на спину чей-то тяжёлый пронизывающий взгляд.

Псина завалилась набок, как плоская мишень в тире. Лапы её вдруг бешено заработали, захлопали по земле, как будто могли спасти, унести от смерти.

Мелькнула шальная мысль: а если вскочит?! Мишка в панике оглянулся. Всё на свете отдал бы он сейчас, чтобы не слышать этого отвратительного топота. «Пропади она пропадом, дублёнка эта...»

– Сволочи... – неизвестно кому и про кого прошептал он.

– Чё? Да-а... – еле слышно выдохнул Санька.

Злость на всё и вся вдруг охватила Мишку.

– Чего раздался? – грубо сказал он. – Тащи её, суку, вон туда, к дороге.

Но сначала всё же постояли, покурили из дрожащих пальцев, ополовинили коньячную фляжку.

Вроде ничего. Отпустило.

Дальше пошло быстрее и легче, бац да бац. Удача, чёрт её дери, пошла! Уложили заодно и пару кошек. Или котов, бес их разберёт.

– На детские шубки – пойду-ут, – бормотал про себя Мишка, – китайцы вон шьют, а мы что...

Санька стаскивал убитых к бетонке и выкладывал их в ряд на обочине, сначала попробовал по масти, но это оказалось некрасиво, не по-хозяйски. Тогда он выложил собак по размеру, по возрастающей, как в музее. Санька даже не ожидал от себя такой аккуратности. А Мишка, уже распаренный, с ошалелыми глазами, бил и бил, стегая выстрелами спящий посёлок. В белых бил, чёрных, пятнистых, больших, маленьких, лохматых и гладких... Что ему теперь было их разглядывать? Всё встало на свои места. При таком разнообразии у них было одно общее качество: они были вне закона, и в обмен на их жизнь – считай, что задарма – можно было получить шикарную дефицитную вещь, о которой, правда, до сегодняшнего дня Мишка Фирсов как-то не думал, не мечтал...

Уже под конец получилась накладка: Мишка шлёпнул пулей выбежавшую через пустырь прямо на них чернявую шавку, и Санька, подойдя, чтобы тащить её на бетонку, вдруг плаксивым голосом сказал:

– Миш, а ведь это Мушка... отвязалась, видать, собачка моя... я ей... котлетку вот...

Мишка, охваченный азартом, не врубился и ляпнул:

– Ну и что?

– Мушка это! Понял?! Она у меня... ласковая такая... служить умеет, слова человеческие понимает... ждала ведь меня...

Он опустился на колени, склонился над ней, ощупывая безжизненное тельце дрожащими руками в запёкшейся крови. Вынул газетный кулёк, развернул, начал тыкать раздавленной котлетой в окровавленный собачий нос.

– Ну, ну... – И тихо завыл: – Единственная понима-ала...

– Мушка, Мушка! Вон их сколько замочили, мушек твоих.

– Ах ты, гад... – прошептал Санька. – Да я тебя сейчас... самого...

– Да бро-о-ось ты! Самого-о-о! – передразнил Мишка. Но, заметив кривой нервный оскал на лице напарника и блестящие бусинки слёз, застрявшие на небритых щеках, понял, что дело принимает нешуточный оборот, и неожиданно для себя повёл стволами:

– А ну...

Санька остолбенел.

– Ты зачем... это...

Мишка поднял ружьё повыше. Санька медленно поднялся и, когда в живот ему упёрлись чёрные прошивающие навывлет зрачки, попятился, вяло помахивая рукой:

– Э... Э...

Мишка с каким-то животным интересом смотрел, как сереет потное Санькино лицо, как корчится он, словно жучок, на невидимых продолжениях стволов.

– А ну, пош-щёл отсюда, алкаш, – сквозь зубы проскрипел Мишка и упёр приклад в плечо. – А ну, сопля зелёная...

У Саньки подломились колени, он снова попятился, повернулся и, нелепо подпрыгивая, побежал в сторону бетонки. На ходу он оглядывался, и Мишкин опытный уже глаз уловил в его фигуре что-то знакомое. Да, узнал Фирсов ту самую, первую, рыжую собаку. Как бежала она от них и как потом завалилась...

Снова кто-то скомандовал ему – «бей!», и он дёрнул спусковой крючок. Боёк только щелкнул, – выстрела не было. Мишка опустил ружьё, мутным, налитым кровью взглядом оглядел освещённый уже утренним солнцем пустырь, серую бетонку, по которой бежала от него, раскачиваясь, длинная чёрная Санькина тень.

Потом вытер взмокший лоб скомканной в кулаке ушанкой, хлопнул ею себе под ноги и, ухватив ружьё за теплые стволы, стал, рыча, бить им о гудящую от каждого удара землю...

1981

ПРИГОТОВЬТЕ СЕВЕР ДЛЯ МИНИСТРА

В день заезда очередной вахты стало известно, что ожидается приезд министра. Участок был передовой, вёл уникальное бурение с морского льда, поэтому все восприняли как должное, что самый главный человек отрасли хочет увидеть всё на месте, своими глазами. «Нам-то что. Пожалуйста, не жалко». Но в глубине души польстило, конечно.

Стоял обычный чукотский морозец, и солнце мутным пятном висело над снежной равниной. Стрекотали дизель-электростанции, чёрный угольный дым из труб пачкал небо. Февральские пурги сдули несслежавшийся снег, и трактора, сновавшие по участку, били стылыми траками в голый зелёный лед, только брызги в стороны. Полтора метра льда для одиннадцатитонного трактора или буровой весом в двадцать пять тонн, много это или мало? Если в первый раз – мало, дверцы даже закрыть страшно. Во второй – смешно, что в первый было страшно, ну а в третий – попробуйте сами, и всё поймёте... Старожилы.– привыкли. Ездили, и всё тут.

Первый, неокрепший, ледовый покров осеннее сжатие легко взломало, потом за дело снова взялся мороз, намертво спаяв обломки льдин с окаменевшим материком, но, видно, перестарался – лед стал крошиться, лопаться с гулким эхом, покрылся паутиной трещин, которые по неизвестной прихоти переплелись у самого берега в тугой жгут, – это уставшее в борьбе со стужей море вывалило к береговому обрыву грязно-белый шероховатый язык торосов. Обрыв, однако, стоял непоколебимо на старом месте и чернел неистово и неприступно, закрывая половину горизонта и половину неба. Было в нём что-то, подавляющее и ограничивающее.

Некоторые шустрили, пытались оттащить балки-вагончики подальше от обрыва, вслед за уходящей в море буровой, но жрец техники безопасности, в просторечии «ледовик», тут же запретил ставить жильё на льду – мало ли что. Но если честно: самолет ледовой разведки – «ледовик четырнадцатый» – сюда никогда не залетал, нечего ему было здесь делать. На тесноту жизненного пространства никто, конечно, не жаловался, но пляж – узкая полоска смёрзшейся гальки – был крут, полозья нельзя было поставить ровно, и трактористы, перекрывая стук моторов, материли всё и вся и елозили «гусками» себе в убыток. А главное, буровые быстро удалялись от берега, осветительного кабеля вечно не хватало, жгли тогда вонючие, запроваленные солярой, лампы или вообще обходились без света. Раздражало и пустое хождение, километр до буровой и кают-компания, километр – до пляжа, особенно в темноте.

Ледовик, пожалуй, обладал здесь наибольшей полнотой власти. Он каждый день обходил участок, сверлил лунки до седьмого пота, отыскивая свежие трещины, после чего, бывало, останавливал бурение, а запрещённые отрезки ледовых дорог отмечал красными флажками, и ездить по ним, чтобы не давать большой крюк, можно было только в его отсутствие. А что, риск, говорят, благородное дело.

Хотя случаи бывали разные. Ледовый клин, скажем, может сгрузить трактор в дымящуюся парком на морозе полынью, а потом опять встать на место, как броневой лист. Время на всплытие – четыре минуты. Почему четыре? Никто не знает, но все так говорили.

Буровые молотили круглосуточно, выстаивая на одном месте по двое-трое суток. Днём их чёрные вышки торчали, как обезглавленные гусиные шеи, а ночью мерцали таинственными огнями, вправленными в радужные круги.

Буровой снаряд пятнадцатой бригады тоже без усталости крутился и сновал вверх-вниз, на подъеме колонковая труба облегченно вздыхала и выпускала струю жидкой грязи, расписывая всё вокруг лихими узорами. Не очень приятно, но все же теплей, чем на улице, и чайку горячего попить можно, и грязь – дело привычное, а вот потом в столовую идти или под обрыв – далековато. Тут уж надо бегом, ноги в руки, простучать каменными сапогами по обледенелым сходням и ввалиться сразбегу в тепло в клубах бегучего пара, где надёрганные за двенадцать часов мышцы нальются тяжестью, словно по ним ломом прошли, а тут тебе, пожалуйста,

сухой «Беломор», тут тебе чай-чифир, доминошный грохот под незлобный матерок и очередной анекдот про чукчу, – и вроде ничего уже, терпимо. Ну а если – не дай бог – сломается что, тут же тебе из этих же доминошин конструкцию сложат и на пальцах объяснят, какая шестерёнка за какую цепляется. В эти разговоры частенько встревал повар Стелькин, считал себя знатоком бурового дела. Выслушивали его, если могли удержаться от смеха, в полной тишине и немом изумлении, но он не обижался, испытывая чувство приобщённости к большому настоящему делу.

И всё бы так и шло, размеренно и заведённо, но в тот день за вахтовкой прикатил маленький автобус, в котором на участок наезжало начальство. Ребятки из вахтовки ссыпались весёленькие, но смиренные и как бы о чём-то задумавшиеся. Тут-то и выяснилось, что дня через три или четыре привезут не кого-нибудь, а министра.

И тогда стало понятно, что это приехало начальство, порядок наводить.

Осмотр начался с жилых балков, население которых сразу переместилось в кают-компанию, отдав в жертву ответственных за пожарную безопасность. Они и принесли на хвосте, что жильё, по мнению начальства, находится в плачевном состоянии, требует немедленного ремонта, и вообще.

На это будут отпущены дополнительные средства и материалы, – говорил главный геолог Стрекалов.

– А вот это – убрать! – добавил он, указывая на фотографии голых красоток, среди которых была негритянка. Корявая надпись на теле негритянки гласила: «любовь Роговицына». Картинку пришлось временно снять, а заодно попрятать и «козлы» -обогреватели, состоящие из обрезков асбестовой трубы и двухсот витков нихромовой проволоки.

Во избежании пожара из-за возможных газовых выделений, – рубил по-писанному Стрекалов.

– Почему отсутствуют туалеты? – строго спрашивал пожарный инспектор, тыча носком ботинка в желтый снег. – Золу и всё, э-э... остальное вывозить в бочках на ближайшую свалку.

– Так, Иван Михалыч, это ж восемнадцать километров, – оправдывался бригадир Неломайшапка.

– Вы что, товарищ, не понимаете?

Короче, начальство вело себя очень деловито и энергично, много и зажигательно говорило, – видно было, что всё продумано заранее.

Все эти события пятнадцатая бригада встретила гробовым молчанием, повисшим в воздухе так же ощутимо, как табачный дым.

Кто-то, опуская в кружку с чифирем самодельный кипяtilьник из двух безопасных лезвий, обмотанных суровой ниткой, сказал:

– Ну вот, наконец-то дождались.

Никто, правда, точно не понял, чего именно дожидался автор этой фразы. Мнения же по поводу министерской инспекции сразу разделились. Одни говорили, что теперь хлопот не оберёшься: своё начальство – видели? – замучает проверками да приказами. Другие ехидничали: бардаку конец. Наведут порядок, наведу-ут! Третьи, самые многочисленные, смотрели философски и всерьёз не принимали: как приехал, так и уедет.

И уже в самом конце выступил помбур Роговицын, любитель негритянок, маленький гнилой мужичонка, промотавший по северам полжизни. Значительно-петушиным голосом он произнёс:

– Всё, бичи, кончилась наша райская жизнь. Приехать он, может, и не приедет, а вспоминать мы его теперь долго будем.

На участке установилось ожидание больших событий и, может быть, даже крутых перемен.

Через день по ледовой дороге прикатили два грузовика с рейками и дефицитной клеёнкой для наведения жилого интерьера. Привезли целую связку лозунгов на обтянутых красной тканью подрамниках. Все это свалили временно на брезенте, расстеленном прямо на льду.

– Гляди-ка, навезли. Как бы лёд не треснул, всем досрочно «хана марковна» наступит.

– Братцы, куда же ледовики смотрят?

Тракторист Баряба, гроза неосторожных северянок, скаля белые зубы на чёрном лице, рвал на груди тельняшку: – Дашь комсомольскую стройку! – И накаркал.

– Что это у вас пожарный щит такой недоделанный? – грозно спрашивала комсорг Оленька, которую в бригаде за глаза называли «кошечкой». В рейде «Комсомольского прожектора» кроме неё принимали участие два робких паренька.

– Так ведь... это... – Небритый промывальщик по прозвищу Князь, а по фамилии Потёмкин, растерянно моргал из-под толстых очков красными веками.

– Исправить!

– ...весь шанец на шурфовке, значит, изломался...

– Достать! Выписать!

– ...а новый не дают никак, говорят: борись за экономию, – тут Оленька встрепенулась, – вот я и борюсь, со щита лопаты снимал, всё равно ведь без дела висят, да и что ими потушишь-то, что ими лопатить на пожаре-то, а, дочка?

– Я вам не дочка, а официальное лицо! И не надо меня учить!

– Да не кричи так, Олька, мешаешь же, – говорил один из её робких помощников. Он старательно и важно, под диктовку, писал в ученической тетрадке список запчастей. В механизмах он не разбирался, поэтому дело шло медленно.

– Фар... коп, – хрюкая в кружку с чаем, диктовал Баряба.

«Господи, на что я трачу своё личное время?» – думал с тоской робкий прожекторист. – Как ты говоришь – фар?..

«Замуж ей пора, вот она и бесится», – всерьёз размышлял Стелькин.

Потом пришёл новенький блестящий самосвал. Оказалось, за металлоломом. Водила, выскочив на подножку, оторопело оглядывал пустынный горизонт и знаменитый обрыв, курящийся снежной позёмкой. Бригадир Неломайшапка, забрав с собой подвернувшегося под руку Роговицына, помчался на самосвале собирать обсадные трубы, погнутые ледовыми подвижками. «План по металлолому поневоле выполнишь», – радовался Неломайшапка.

– Попробуй теперь разыщи под снегом, – глядя в окно, шептал вслед самосвалу взмокший у плиты Стелькин.

Вечером Роговицын в лицах рассказывал, как искали железо в затвердевших сугробах, как Неломайшапка закидывал снегом лужи отработанного масла.

– Оно, говорит, масло-то, из природы вышло, в природу и уйдёт. Чего тут охранять, ага?

Все дружно ржали. Лёд трясся: за стеной на холостых оборотах молотил Барябин трактор. В старое погнутое ведро из картера капало чёрное масло.

На следующий день на участке появились незнакомые мужики в спецовках. Они шустро скатывали из кузова бочки с известью, сгружали малярный инструмент. Повар не успевал топить снег для чая: буровики сидели в столовой без питьевой воды, а на буровой, фукая краскораспылителями, копошились маляры. Приспособления для побелки, удобные на юге, на крайнем севере барахлили, вода схватывалась, и перемазанные известью побельщики, матерясь, калили их паяльными лампами, и сами лезли греться в столовую.

Потом, как вихрь, опять налетел Неломайшапка и погнал всех незанятых засыпать снегом жёлтые разводы вокруг балков, а Роговицыну погрозил пальцем: «Смотри у меня, трепло!».

Помбур, вяло ковыряя снег лопатой, ворчал:

– Бичи, кто ж меня продал?

Днем снова появился самосвал. На этот раз он привёз переносной фанерный туалет на длинных журавлиных лапах, который установили почему-то на полпути между жилыми балками и столовой. Он, как палец, одиноко торчал изо льда.

– Заживём теперь по-человечески, – веселился Баряба, проезжая мимо.

Тем временем облик участка неузнаваемо менялся. Недобросовестные маляры закончили побелку тепляка, но не смогли, так их растак, выкрасить высоченный копёр, куда побоялись лезть, но это, честно говоря, вида не портило. Снаружи на вышке красовался энергичный лозунг «Ни одного отстающего рядом!». Неломайшапка сам залез наверх и звонко отстучал молотком, дизелист Сомов следил снизу, чтоб не вышло криво. Бригадир был доволен: белое на красном, а красное на белом смотрелось очень хорошо.

В жилых балках строители спешно заканчивали обивку стен. Импортная клеёнка – вот что значит министр, – пестревшая яркими винными этикетками и экзотическими фруктами, радовала глаз, уставший от снежной белизны. Население от одного только вида этакой роскоши слегка захмелело. Плохо, однако, было то, что один из балков, переживший десятую молодость и прозванный за холод «Комендатурой», не выдержал юбилейного ремонта и завалился.

– Беда, ой беда, – причитал Неломайшапка, но исправлять что-либо было уже поздно. – А что, хлопцы, сделаем здесь холодный склад, а спать уж придётся по очереди. Сами понимаете, нельзя нам лицом в грязь ударить.

– Нельзя – значит, не ударим, – проворчал промывальщик Гудерианыч, отсидевший при Сталине семнадцать лет. Пальцы у него на правой руке не гнулись, но он ловко крутил «козью ножку» одной левой.

В столовой повар Стелькин залепил казённые стены разноцветными плакатами, содержащими различные полезные сведения. Скажем, сколько всего дополнительно можно сделать, сэкономив хотя бы один процент электроэнергии, или сколько стоит один час простоя буровой. По собственной инициативе повар повесил и «Помни, дома тебя ждут дети», хотя ни жены, ни детей у него не было, а про алименты он как-то забыл.

В общем, царила суматоха: не каждый день министры приезжают, но настроение у всех было праздничное, приподнятое. Приятный морозец пощипывал лица, солнце неторопливо дрейфовало среди торосов, и даже обрыв немного как бы осел и съёжился, освободив место для неба и моря.

Каждый занимался своим делом. Исправно молотили дизели, успешно поднимался керн из таинственных глубин. Повар Стелькин, вытирая со лба бисеринки пота, тоже старался изо всех сил. Тракторист Баряба под предлогом поездки в соседнюю бригаду смотался за пятнадцать километров в посёлок и вёз ребятам три ящика перемороженного «каберне», гусеницы гремели на льду, за трактором вилась снежная пыль. Бригадир Неломайшапка на бланке табельного учета прикидывал показатели текущего месяца и был морально готов к встрече самого высокого начальства.

А ждали его уже на следующий день.

Когда рабочая смена к восьми часам утра подвалила к столовой, небо ещё было ясным, но мороз уже сильно сдал, с юга потянул ветерок, по-местному южак.

И все поняли, что надвигается пурга.

Собственно, в этом не было ничего страшного – не впервой же! – а скорее такая перемена погоды была даже приятна после длинной вереницы однообразно морозных солнечных дней.

И всё же, пурга есть пурга, а не подарок. На своих двоих против ветра не выгребешь, а ледяная крупа вперемешку с пылью, песком, острыми мелкими камешками работает не хуже пескоструйного аппарата. Одежда намокает и смерзается. Вдали от жилья – это труба-дело, без дураков, но и вблизи тоже поблукать можно, в двух метрах ничего не видно, а то понесёт и покатит, наподдаст, и – голова-ноги – в сторону девяностого градуса северной широты.

Зацепиться-то не за что! И вездеход или трактор совсем не так надёжны, как кажутся. Любая поломка – и всё. Ищи-свищи тогда до самой весны или пока не надоест.

Через час не было уже ни обрыва, ни моря, ни солнца, – померк белый свет, отвердел от летящего снега, но пурга всё набирала и набирала силу, свистела в десять пальцев на разные голоса, пока не загудела, наконец, мощно и ровно. Сколько Баряба ни вглядывался, ничего не видел за стёклами кабины. Он потихоньку, на второй передаче, тащил волокушу с углём и крутил головой, как филин. Если бы трактор не ткнулся заснеженной мордой в подвешенный кабель, Баряба мог бы ехать ещё долго-долго, до самого полюса.

Под размеренный вой ураганного ветра отработавшая смена спала тяжелым сном в облепленных снегом балках. Тяга в печках была плохая, в воздухе стоял угольный чад.

В дизельной на полу намело огромный чистый сугроб, из-под которого выбирался слабый ручеек мутной воды. Дверь не закрывали, опасаясь перегрева, и дежурный дизелист Сомов замучился выгрести снег.

– Уеду отсюда, к чёртовой матери, – приговарил он, орудуя лопатой.

На буровой гуляли бодрые сквознячки, по обшивке что-то шуршало, царапало её крепким ногтем, скрипела дверь, шум работающего двигателя переплетался с гулом текущего за фанерной стеной воздуха.

– Та-ра-ра, – в унисон вторил им бурмастер по прозвищу Слон.

Он уверенно дёргал рычаги лебедки, успевая записывать в журнал номера проходок, помогал помбуре Роговицыну таскать штанги и каблуклом ловко загонял на место предохранительную вилку. Победитовая коронка где-то там, на глубине, вгрызалась в морское дно, масляно урчали шестерёнки передач. Буровая качалась, дрожала от напряжения, словно хотела переступить с ноги на ногу, как избушка на курьих ножках, приладиться удобнее.

Смена только началась, всё пока ладилось, пальцы были цепкими, а головы ясными. Вся усталость была впереди.

– Ого-го, мериканцы, как вы там! – орал Роговицын в бездонную черноту скважины. – Не отставайте!

Ближе к вечеру замкнуло силовой кабель. Четыреста вольт прорезали снежную мглу, ослепительно искрящийся шар запрыгал на льду. Повар с пустым помойным ведром изо всех сил рвался против ветра к дизельной.

– Кабель гори-ит!

Ветер разрывал крик на части и, слепив в тугой комок, тут же запикивал его обратно повару в рот. Стелькину и здесь не удалось отличиться: дизелист Сомов был на месте и рванул рубильник. Буровая канула в темноту, в столовой начала остывать плита, а дизелист уже перебирал голыми руками мокрый кабель, двигаясь к месту замыкания.

– Уеду, гад буду, – шептал он.

Вечером на пересменке отрезанная от мира бригада хлестала гнилую «кабернуху», заедая мороженой олениной. Слон стучал по столу красным раздутым кулаком:

– Соляру не успели завезти, завтра к обеду встанем. Сколько раз просил резервную ёмкость поставить.

– Вот я три дня не попью, такой же умный буду! – брякнул кто-то. – Ты министру ещё про это расскажи!

Роговицын, обладатель единственной негритянки в округе, наевшись строганины до инея в желудке и от усталости похудевший лицом, отмалчивался, сопел в две дырочки.

– Ёмкость – это же вещь, рацуха! – настаивал Слон.

– У меня этих рацух, – нашелся, наконец, помбур, – пятнадцать штук! Мне так и сказали: хочешь применить, делай сам в свободное время. У нас, дорогой ты мой Слоняра, инициатива наказуема, предложил – сам и делай!

– Ну ты, Роговицын, и горазд заливать. – Неломайшапка пил вместе со всеми. Вид у него был несчастный: увлѣкшись борьбой со стихией, слетел с трапа и повредил ногу, а сейчас под общий хохот, из Неломайшапки превратился в Неломайногу. «Похоже, и правда перелом...» – морщась от боли, думал он.

Спорить с ним из-за такой ерунды, как рацпредложения, никто не захотел. Сорванный ветром, нудно стучал по крыше кусок брезента.

– Смотри-ка, дует, того и гляди, на тот берег укатит.

– К американцам, что ли?

– Ага. Представляете, вертолѐт ихний к нам подсаживается, «хелло, камрады!». Янки суеются, ящики с пивом на лёд вытаскивают.

– И негры им помогают!

– Ага. А пиво баночное!

– А то ж! Кому, говорят, пивка холодного. Плюс триста пятьдесят прямого заработка, но – работаем на нас.

– Не-ет, за триста пятьдесят я не буду. Это измена родине. Пусть четыреста дают.

– За четыреста они с тебя четыре шкуры и спустят.

– Не спустят. У них на севере даже мужики больше месяца не работают, стоять не будет, вахтовка приходит – и на юг. Хочешь к семье, хочешь – к этим...

Отец пятерых детей, дизелист Сомов, грел ноги, приложив подошвы сапог к печному боку, и мечтал об ордере на двухкомнатную квартиру. Пахло горелой резиной.

– Я в отпуск раз на Рицу ездил, – встрепенулся тщедушный Роговицын, – озеро такое в горах, на берегу медведь к дереву привязан, на цепи. Написано: Майкл. Курортники мимо идут, куски ему бросают. Он жрѐт, толстый, как поросѐнок, чавкает, скотина. А мы с приятелем шли, думаем: зверь не зверь, обидно за него стало – терпит ведь, всё терпит за подачки. Ну, мы давай его палкой ширять, чтоб он характер свой вспомнил, проявил внутреннюю сущность. И, знаешь, хорошо получилось, он аж на дыбы встал, глаза налил, а клычищи у него с палец, во такие! Вот теперь, думаем, похож, любуйтесь теперь на естественный ход событий, вот вам, живодѐры, дикий экземпляр. Так нас растак. Тут тѣтка к нему подходит, курортница: миша, миша, на тебе, покушай. А нам говорит: он ведь ручной совсем и здесь его все любят, а вы, вы – только провоцируете! Как этот любимец рывкнул, как зубами щелкнул – тѣтка в отпад, в туфли намочила. А-а, – ревет, – спасите! Отдышалась, говорит: я на вас в милицию заявлю, туфель только мой достаньте. А мишка бегаёт, бренчит цепью и рвѣт её, туфель этот нюхает и ещё больше звереет, и на тѣтку кидается. Смельчаков, конечно, нету, кончились давно. Ну, чтоб за туфлей-то к нему в пасть лезть.. А тѣтка канючит: туфли-то новые, только перед отпуском купила, жа-алко. Ну что ж, и мы её пожалели, отвлекли бешеного Майкла, ну, мужик один храбрый сразу нашелся, выхватил туфлю и ушѐл вместе с тѣткой.

Никто не засмеялся.

– Ну, и в чём мораль? – угрожающе спросил Неломайшапка.

– А не в чём! Просто я, когда вижу животное на цепи, сразу вспоминаю, что мы с тобой, бригадир, про-ле-та-ри-ат.

– Балабол ты, Роговицын, тепло чукотское...

Когда ополовинили первый ящик, Гудерианыч достал из-под нар перламутрово-зелѣный аккордеон и, растопырив мѣртвые пальцы, заиграл «Журавлей».

– Там есть пра-аво на тру-у-уд! – сильным фальцетом надрывая связки, голосил Гудерианыч. – Там люде-ей ув-в-важа-ают!

– А чего у него с рукой-то? – шѣпотом спросил Стелькин.

– Он в лагере завклуб был, спел про родину – вохра ему руку прикладом отбила, – ответил Роговицын, брызгая слюной сквозь редкие зубы.

– А чѣ, про родину нельзя?

– Он же немец. Ему – нельзя!

К началу второго ящика все уже говорили одновременно.

– Морды брезентовые! – вопил Баряба. – Рукавицы небритые! Дайте сказать!

– А у попугаев нынче гон! Потому что они в другом полушарии живут!

– Если гон, то конечно живут.

– А я, знаешь, просыпаюсь однажды, вижу – вырезвитель, вся бригада на койках! Вот эт-то номер, думаю!

– Да не вырезвитель это был, а палата! В венерическом отделении!

– Это мы к Вальке Драге в гости ходили!

– Да-а... Валька – она такая!

– Ну, теперь пусть она к нам приходит... снова...

– ...а то мы в соседнюю, в женскую палату уйдем!

– Надо записку оставить, чтоб не заблудилась!

Каждый кричал своё, каждому хотелось высказаться. Даже рёв ветра, как ни старался, как ни бился в окна и стены, никак не мог прорваться сквозь плотную завесу удалых голосов.

Бурмастер Матвейч, сменщик Слона, у себя на буровой с такой силой давил снаряд в морское дно, что ДЭСка захлёбывалась собственным стуком, и в столовой начинал медленно гаснуть свет.

Все говорили хором «Матвейч давит».

Потом с буровой пришли, приползли за трактором: переезжать на следующую скважину.

– Перевозка!

– Ну, дает, – восхищался Баряба, – так сдуру и сломать что-нибудь можно.

Двужильный Баряба, не спавший двое суток, отвёз рабочую смену на буровую, угадывая путь ещё неизвестным науке чувством. Сквозь щели в кабину, как пули, залетали снежинки и мгновенно таяли в струе горячего воздуха.

Невидимая буровая вышка качала тусклыми огнями. Двадцать с лишним тонн настылого железа медленно двигались во мраке, с хрустом и скрипом давя неровности на льду. Дизелист Сомов кольцо за кольцом сбрасывал с клыков негнувшийся, уползающий за буровой кабель. «Гадство, когда же это кончится?» – думал Сомов.

– Хорош! – надрываясь, орал Матвейч и махал верхонкой световому пятну тракторных фар. Баряба в кабине, оскалившись в улыбке, толкал рычаг муфты.

...В ту ночь перебрал только повар Стелькин, оправдывая свою фамилию.

Пурга, смешав дни и ночи, резвилась трое суток. Осторожный рассвет четвёртых открыл белую унылую землю, каменный её край с нависающими снежными козырьками, нагромождение льдин у подножия и уходящую в сторону открытого моря, словно километровые вежи, цепочку домиков на полозьях, на конце которой чернел острый наконечник буровой вышки.

Всё было, как раньше, и всё же не так. Балки под обрывом занесло по самые крыши, пролезали в них на четвереньках, шмыгали в круглый лаз, как евражки. Уголь в волокушах уже нельзя было отделить от снега. Что горело в печках – неизвестно.

Зато там, вдали от берега, можно было кататься на коньках: гладкий и чистый лёд матово зеленел. Снег покинул эту скучную местность, умчался куда-то, чтобы сотворить там что-нибудь этакое, повеселее.

Вместе со снегом исчезла фанерная будка на птичьих ногах, судьба её никого не интересовала, кроме охромевшего бригадира Неломайшапки. По-птичьи взмахивая локтями, он пробирался по участку, вёл строгий учёт потерям.

– Ай-яй-яй, – приговаривал он, глядя на поломанные, в обтрёпанных лоскутьях, подрамники. Лозунга на копре не было, и Неломайшапка пожалел, что вовремя не снял его с вышки. Наверняка когда-нибудь пригодился бы.

– Рейка хороша, сухая, – сказал кто-то голосом Роговицына.

Бригадир открыл рот и повернулся, но рядом и до самого горизонта никого не было.

– Фу, ты, черт беззубый!

А тишина стояла! Незаметная рабочая тишина. Стучал дизель, черный угольный дым слабо полоскался на ослабевшем ветру. С большой печалью смотрел Неломайшапка вокруг, не узнавая своего, сообща нажитого, в обшарпанных скособоченных строениях, раскиданных на льду под пустым невидимым небом, всматривался воспалёнными глазами в лица буровиков: «Как же это, братцы, а?»

Но в бригаде говорили:

– Пурга – это к весне!

На буровой, как шкворнем об рельсу, набатно звенело железо: многорукий Слон – «та-ра-ра!» – играл на своём многотонном инструменте. Керн шел на все сто, – как тут не подпоёшь! Роговицын покуривал вопреки инструкциям и ковырял на стенке засохшую грязь: пропала малярная работа.

Днём, дельфином ныряя в снегу, в бригаду пробился вездеход. Первым его заметил Баряба:

– Мини-и-истра везу-у-ут!

Все свободные от вахты толпились у столовой.

«Я ему сейчас всё выскажу», – думал дизелист Сомов. – «Не сробеть бы только...».

Толпа настороженно притихла, пытаясь разглядеть, кто же там приехал, когда вездеход лихо крутнулся на месте, обдав встречающих снежной пылью и тёплой бензиновой гарью.

– Здорово, бичи! – орал, высунувшись из люка, разбитной рыжий вездеходчик Серёга. – Кому таблетки от насморка! У меня целый ящик завалился!

Все поняли его предложение однозначно и зашмыгали носами. Обстановка несколько разрядилась, но никто особенно не выступал, ждали, что будет дальше.

– Так что вот, – расплылся Серёга, – не дождался вас министр, тю-тю. У него за пятьсот прямого простоев не должно быть, а?

– А чё ж не постоять-то, это ж не буровая.

– У нас простоев не бывает, – озираясь, отрезал Неломайшапка, как будто министр мог его услышать.

– А вот запои случаются, – поддел бригадира Роговицын.

Мнения по поводу министерской проверки опять, конечно же, разделились. И только в самом конце хромой бригадир, ещё раз оглядев своё потраченное пургой хозяйство, радостно сказал:

– А всё же, мужики, повезло нам, что он не приехал. Вон у нас какой беспорядок.

И опять ему почудился противный голос Роговицына:

– Это в голове у тебя – беспорядок.

1987

ЗНАКОМСТВО

Вертолёт шёл сначала над вершинами сопок, едва не касаясь брюхом зазубренных каменных кекуров с длинными и тоже зубчатыми тенями. Несмотря на холод в салоне, клонило в сон, но Юрий, опершись спиной на тук со спецодеждой, упорно пялился в иллюминатор: сопки кончились, внизу лежала равнина, освещенная ночным полярным солнцем. Тонкий лист облачности, проткнутый острыми конусами горных вершин, постепенно накрыл её: излучины петляющих рек перестали вспыхивать отраженным солнечным светом. Пятна снега на склонах и нижняя кромка облаков светились холодным и голубым. Черная гряда надвинулась, вертолёт стал набирать высоту.

Снаружи потемнело: вошли в облака, и Юрий с досадой отвернулся. Началась болтанка.

Рядом, на откинутых сиденьях, спал бурмастер Коротаяев: вонючие портянки размотались, потные волосы прилипли к морщинистому загорелому лбу. Пьяный Коротаяев ёжилась во сне и тяжело всхрапывал. Юрий старался на него не смотреть.

Напротив сидели главный геолог и его зам, оба дремали, мотая головами из стороны в сторону.

Незаметно Юрий заснул, а когда проснулся и выглянул в окно, увидел капельки на стекле, струящееся назад варево облаков и тумана, и желтовато-бурую тундру внизу. Прижатый к земле, вертолёт, глухо урчал, скользя над бездонными провалами бесчисленных озер. У Юрика захватило дух: нескончаемая равнина подавляла угрюмостью красок и неземной безжизненностью. «Как же можно здесь жить, – сплошная вода... А красиво. Как кружево...»

– Попадёшь сюда и каюк, – Юрий увидел рядом блестящий мутный глаз: Коротаяев прижался лбом к холодному стеклу и, скосив взгляд, смотрел вниз.

Показалась большая река и седоусый кораблик на ней. Вынырнули светлые домики в несколько рядов на крутом берегу, серебристые баки для горючего, огромные даже с высоты. Тундра потеряла свои первобытные краски, исполосованная пунктирами машинных следов. Не замедляя хода, вертолёт резко снизился, шлёпнулся на бетонку и покатился к приплюснутому зданию с башенкой наверху.

В салоне сразу задвигались, завозились, позёвывая и растирая заспанные лица. Дверца в пилотскую кабину распахнулась, летуны в тесноте натягивали куртки, и было странно чувствовать вращение лопастей где-то наверху, как будто вертолёт был живым существом и мог не подчиниться командам людей.

На заправку полчаса и вперёд, – техник откатил дверцу и первым спрыгнул на бетон.

– О-хо-хо, – зевнул Коротаяев, глядя на кучу тюков и ящиков в полумраке салона, – десант, за мной! – и, подняв воротник обвислого пиджака, полез наружу.

Пройдя через деревянный аэровокзал, они сразу попали в посёлок. На ночных улицах было пусто, с сухим шелестом сыпалась снежная крупа, небо отдалилось, висело серой плитой над серыми домами. Коротаяев, давясь папиросным дымом и кашлем, грохал сапогами рядом с Юриком:

– У Глушкова-то должно быть... Обязательно должно... У Глушкова всё есть...

Глушков оказался начальником перевалочной базы. Все набились в его маленький зелёный вагончик, в тепло. Сам Глушков накручивал диск телефона.

Юрик с интересом огляделся: на кроватях кто-то спал – торчали только всклокоченные волосы, по стенам – вырезки из журналов, на столе недопитая бутылка с вином, чашки, вскрытые консервы.

Коротаяев цепким движением встряхнул бутылку, оценивая, сколько в ней осталось.

– Вина что ли выпить, раз водка кончилась, – пробормотал он, работая на публику.

– Коля? – раздался голос Глушкова, – Глушков. Сейчас пришла «восьмёрка»... Да, из батагайского отряда... Ты её не заправляй. Понял? Пусть посидят, голубчики, суток двое – трое... Если что, говори – Глушков. Да... Ну всё, отбой.

– Ты понимаешь, что получилось, – Глушков повернулся к главному геологу, – выбил три тонны горючего, чтобы детей из интерната в лагерь на юг отправить...

– Ген, а Ген?... – Коротаяев вопросительно смотрел на начальника перевалочной базы. Тот, не глядя, махнул рукой и продолжал:

– Тут как раз «вертушка» из Батагая пришла. Думаю, вот хорошо. Созвонился, договорился, заправку дал... Детишки километр целый бежали, с чемоданами, а он у них на глазах взлетел! Заправились, сволочи, и улетели. А теперь – пусть сидят. Горючки ни капли не дам, ты уж извини. Учить надо гадов...

Главный молчал. Всем, конечно, было жалко детишек.

Коротаяев снова загремел бутылкой. Он, видно, стеснялся допить все сразу, наливал по полчашки, но помучавшись, опять брался за бутылку.

Глушков тоже молчал, глядя в окно. Там беззвучно и стремительно падал снег. Коротаяев задумчиво сосал папиросу толстыми губами. Проскрежетала кровать. У Юрика слипались глаза, в ушах звенело.

Первым заговорил главный геолог:

– Геннадий Григорьевич, нельзя же так. За каждую несправедливость не накажешь, а у меня план выброски горит. Впрочем, что я... – он взглянул на Юрика, – вот, практиканта прислали, пусть побудет у тебя немного, пообвыкнется, а дальше решим.

– Не накажешь?.. Если захочешь, ещё как накажешь, на всю жизнь, – пробурчал Глушков. – Ладно, устали, наверно, с дороги. Жаль выпить ничего нет, и вы, тоже... прилетели... Пошли устраиваться.

Глушков привел Коротаяева и Юрика в соседний, такой же дачного вида, вагончик, только внутри было попроще и холодно.

– Па-дъём! – гаркнул Глушков.

С кроватей поднялись двое. Собираясь, один приговаривал: «Счас, Гена. Счас уходим». Потом достал из-за кровати недопитую водку, спросил скороговоркой:

– Будешь? Нет?

Не дожидаясь ответа, тут же приложился, и оба вывалились за дверь. Все произошло настолько быстро, что Юрик даже не успел как следует их рассмотреть.

– Ну вот, отдыхайте до утра. – Это Глушков, домашним голосом.

Коротаяев, ожив, увязался за Глушковым, они вышли, громко заговорили, стоя напротив окна. Юрик скинул телогрейку, сапоги, в свитере залез под грязное ватное одеяло. Некоторое время он слышал невнятное бормотание за стеной, запах мочи и немывтого тела, исходивший от чужой постели, по стене полз вялый от холода таракан. На этом Юрик провалился в сон.

Утром его разбудил Глушков. Он принёс спальный мешок и чистый вкладыш.

– Вставай, практикант. Поработать придётся. Срочный борт – полевикам мука нужна. Ну, в общем, выходи. Вода вот здесь, в кране, найдешь.

Хлопнула дверь. Юрик, отодвинув занавеску, выглянул на улицу. Светило солнце, снега не было и в помине, над сухой землёй ветер гонял белую пыль. У соседнего вагончика стоял грузовик с работающим мотором.

Вода, холодная, как лёд, лилась прямо на пол из крана на батарее. От голода урчало в животе.

Юрик надел телогрейку с меховым воротником, ухватил со стола огрызок хлеба, шагнул к двери и нос к носу столкнулся с вездесущим Глушковым.

– Ну, скоро ты? Зачем полушубок-то надел? Не позорь геологию, практикант!

У самого Глушкова рубаха была распахнута, что называется, до креста, сверху – потёртая кожанка, одежда на все случаи жизни. Жёсткие тёмные волосы, тугими кольцами спадающие на лоб. Лицо в волевых складках было открытым, как, вспомнил Юрик, у артиста Урбанского, но не приветливым. Под глазами тёмные круги. Он, казалось, с неприязнью и раздражением рассматривает Юрика, дескать, присылают тут всяких молокососов, севера не нюхавших, копни их – ничего не умеют, не хотят. Вот и этот...

– Никогда подряд по две ночи не спал, что ли, юноша?

– Почему, приходилось, – равнодушным голосом бывалого полевика соврал Юрик. Внутри у него всё кипело.

– На, ключ держи...

Коммерческий склад был рядом с аэровокзалом. Грузовик упёрся задним бортом в эстакаду, Глушков с ворохом накладных прошёл в темноту склада. Коротаяев, Юрик и двое знакомых парней из кузова потянулись следом. Когда кладовщица показала штабель мучных мешков, Коротаяев первым взвалил на себя тяжеленный куль и, согнувшись так, что зад оказался выше головы, мелкими шажками выбежал на эстакаду.

После муки вытаскивали какие-то ящики, складывали в кузов. Когда таскать стало нечего, из склада выскочил Глушков, махнул рукой: «Поехали!» Грузовик рванул с места, так что Юрик еле успел заскочить последним и, если бы не упал на мешки, вывалился бы через задний борт. Коротаяев и парни без интереса посмотрели на него и полезли за куревом.

Грузовик вырвался на аэродромную бетонку и помчался к одинокому оранжевому вертолету.

«А где же наш, голубой? – удивился Юрик, оглядывая пустые вертолётные стоянки. – Главный-то, выходит, всё же улетел?»

Брюхо оранжевой «восьмёрки» было распахнуто. На бетоне лежали толстые резиновые шланги с массивными, похожими на пожарные, замками. Тут и технарь появился.

– Задом, задом потихоньку, – крикнул он и, встав на цыпочки, начал крутить хвостовой пропеллер. Тяжело повисшие лопасти большого винта тоже провернулись, так что грузовик смог подъехать прямо к раскрытым створкам.

Начали таскать мешки из кузова в вертолётную утробу. Беспорядочная куча быстро росла и, когда валить стало некуда, Коротаяев толкнул Юрика в плечо:

– Туда, студент!

Юрик утёр пот со лба, скинул теллагу, – предмет тайной гордости юного покорителя сурового края, – похожую теперь больше на робу мукомола, и забрался в салон. Внутри вовсю гулял ветер, мучная пыль сыпала в глаза, мешки были налиты восьмидесятикилограммовой тяжестью. У входной двери встал технарь с ветошью в руках и наставлял:

– Ты поосторожней, на бак особенно не наваливай. Сюда, сюда тащи, вперёд. Да не так. Вот этот сначала... А теперь вон тот...

«Ну и зануда», – возмутился про себя Юрик, стараясь не братья за мешки, на которые показывал технарь.

Вспомнил он, конечно, и утренние нравоучения Глушкова, и косые взгляды Коротаяева, и безразличие незнакомых парней. «Что я им сделал? Правильные все... Лучшая половина человечества. Учат, учат... Не позо-орь! Да ты сам-то понимаешь что-нибудь в геологии, дубина! Ну, гады, ну, сволочи... Морды запьянцовские...»

Наконец, мешки и ящики кончились. Один из парней сказал Юрику:

– Сиди здесь, сейчас ещё привезём.

Юрик улёгся на груди мешков, под самым потолком, положил ноги на бак с горючкой и стал думать о жизни. Вспомнил мать, сестрёнку, зелень листвы на берёзах по дороге в Домодедово и почувствовал вдруг совершенно ясно, что его нисколько не тянет домой. Не тянет

в Москву на шестой этаж девятиэтажного дома, откуда видно кусочек двора с детской песочницей, автостоянку, течение людей на улице...

– Завидую вам, геологам: солдат спит – служба идёт, – услышал Юрик знакомый голос технаря, не по-северному упитанного, стриженного и даже побритого, с бьющим в нос запахом одеколлона.

«И чего я на них взъелся, – неожиданно для себя подумал Юрик, – может, технарю этому тоже тоскливо и одиноко, и он знает, что хоть и форма на нём голубая, и рубашка белая, и одеколлон, а настоящим летуном никогда не будет. А будет вот так вертолётам хвосты крутить, и весь предел мечтаний».

Тут Юрик улыбнулся, вспомнив частушку:

«Вечно пьяный, вечно сонный

Моторист авиационный...

Нос в мазуте, хвост в тавоте,

Но зато в воздушном флоте!».

– Эй, хочешь, стишок прочитаю? – крикнул Юрик в открытую дверцу, что-то такое на него нашло, почти дружеское, но тут показался Глушков, идущий к вертолёту спиной вперёд, за ним, тоже задом, пятился грузовик.

– Ну, вот и работодатель и за что-то там радеть. Десант, за мной! – ругнулся сквозь зубы Юрик.

Теперь грузили железные болванки – буровое оборудование, – еле-еле втроём отрывали от земли. Наконец, покончили и с этим, отколотили о бетонку мучную пыль. Парни полезли в кузов, а Юрик с Коротаевым, не сговариваясь, двинулись к аэровокзалу. У шлагбаума на выезде с летного поля их обогнал грузовик, в кузове на полу тряслись те самые незнакомые парни...

– А главный-то всё же улетел! Слышь, практикант? – Коротаев явно повеселел. – И остальные с ним. Ну даёт Глушков, ну даёт... Вот так они всю жизнь и цапаются. Не по злобе, конечно. Это Глушков такой прямоточный, потому, может, и нелегко с ним...

– А у вас тут ни с кем не легко, – пробурчал Юрик.

– Не-ет, ты понимаешь, главному план давай. Хитрый, чёрт. Так ли, сяк ли, а глядишь – выкрутился... Только веры ему из-за этого нету. Вот вырастешь, сам большим начальником станешь – не забывай, что нельзя всё планом мерить, деньгами то есть. По-человечески надо. Это ж север...

– А чего же летуны такие фиги? – Юрик опять вспомнил об интернатовских детишках.

– Ну-у, брат, летуны! Боги! А мы ползаем! По месяцу в поле выбираешься: погода, бортов не хватает. Зависимость полная. А потом уже на нас сверху наваливаются – понял, понял? давай, давай!: полтора-два месяца работы и привет, на зимние квартиры. Это, правда, в «сезонке» так, а другие вон круглый год на полозьях. Ничего, жизнь такая... У каждого, понятно, свои интересы. Вот взять, скажем, меня и того же главного. Я так понимаю, чтобы начальнику куда повыше пробиться, нужно на головы других начальников наступать, вот они и забывают про человеческое. А нам, нам-то куда ползти, пресмыкающимся? Ведь всё равно, что с печи на полати. Нечего нам делить, по-человечески если... Кроме, как говорится, – Коротаев хохотнул, – собственных ржавых цепей... Ладно, у них свои заботы, у нас – свои. К примеру, почему бы нам не ма́кнуть по двадцать капель за третий интернационал, да с устатку? Ты как? Понял, нет?... Ты мне сразу понравился: я ведь трепачей не люблю. Звать тебя полностью как?

– Юрий Васильевич, – сказал Юрик.

– А меня Вениамин. Веник, значит... Юрий Васькович.

Магазин был на берегу той самой большой реки, которую Юрик видел с вертолёта. Даже сейчас, при солнце, она оставалась грязно-серой, с длинными лентами ряби и пены. Смотреть

на неё было холодно, но когда спустились к самой воде, сели на выброшенное волной бревно, – солнце их пригрело, а ветер остался наверху. И они посидели так некоторое время, поглазели на реку, на едва видный противоположный берег, на катера и буксиры, уткнувшиеся носами в гальку. Происходила здесь какая-то своя, речная, жизнь, казавшаяся размеренной, устроенной и, вобщем-то, немудрёной: дымили себе печные трубы рядом с дизельными дымками, скрипели дощатые сходни, кто-то кому-то что-то кричал, долетал даже запах жареного, кое-где вместо флагов болталось бельишко.

– Курорт, – сказал Коротаев, – северные палестины.

Он достал из-за пазухи бутылку:

– И за что только деньги платят? – и противным голосом закричал: – Справа турки, слева англичане! Фрегат «Паллада» – огонь! – Пробка вылетела, спирт пролился на землю. – Разучился уже...

Юрику стало весело, непонятно только было, почему «уже».

В заскорузлых пальцах Коротаева нарисовался складной стаканчик. Не вставая, Веня черпанул воды из большой северной реки.

Выпили.

– Да-а, север, север... Уже почти двадцать лет талой водой запиваю, а понять не могу, что же он с человеком такое делает, что тот... ну... на человека, что ли, становится похож. Силу какую-то набирает... Иногда и дурную, чего говорить. Пьют, конечно... Но зато работают как! О-ой, как работают-ют...

Коротаев снова зачерпнул воды: «Будем!».

– Веник, а у тебя жена есть? – спросил Юрик.

– Ну, во-от, – Вениамин, показалось Юрику, сразу протрезвел, – и ты туда же... Запомни, студент, где начинается север, там начинается развод. И всё, и отстань!

– А как же любовь, романтика? Хрупкие женщины рядом с полярными героями? – Тут уж Юрика явно понесло, спирт застучал прямо в темя.

– Ну-у... Ты дурак ещё совсем! – выкрикнул Коротаев. – Люди сюда приезжают жить и работать, а не природу покорять, понял?! Другой сейчас стал север. – устало продолжил он. – И северяне измельчали. Вот однажды, на Чукотке ещё, вскрыли мы на смене газовый коллектор. Ну, воняет и воняет, мало ли чего там. А мы с помбуром как раз за инструментом пошли. Возвращаемся, по сходням поднимаемся – я впереди шёл – открываю дверь: ка-а-ак рванёт! Уж не знаю, чего там получилось, а только улетели мы, как две фанерки. И помбур... планировал-планировал, но некоторое сотрясение всё же получил. И началось. Чем я-то, спрашивается, виноват? А на меня, не-е-ет, колёса покатали, будто я диверсант какой!.. Ну, эти – ладно, им положено, а помбуру-то чего? Так нет, стал писать везде, мол, ушиб головы, боли, мигрень, похороны, говорит, снятся, Коротаев, говорит, отвечает за технику безопасности, и до чего он её довёл, если я, молодой труженик, теперь инвалид. Небось, думал и проценты с меня урвать, а уж с государства – само собой. В общем, сука, выжил меня... А спроси – зачем? Что он хоть поимел-то с этого? В результате, конечно, ничего, потому что ему тоже сматываться пришлось: бригада больно на него осерчала. Видишь, Юрок, и не принял его север. Давай, что-ли, ещё... за тёплые края, за молочные реки, будь они неладны...

Коротаев пьянел и курил одну за другой.

– Вот все говорят: «деньги, деньги», ну он и подумал, что тут каждый – за себя, за рупь свой длинный, стало быть, удавиться, и твори, стало быть, что хочешь. Ан нет, ошибся он, сачок-то. Видно и вправду донимает северный мороз южного человека – он же, гад, чуть чего: «Я чайку попить», а насчёт надбавок разоряться – это он первый.

– Что же ты его сразу не прижал? – спросил Юрик.

– Так по-человечески же хочется! – Коротаев плюнул и отвернулся. – Думал, притрётся – сработаемся. Это же главное: не о рубли, а о кореше своем заботиться. Долбаки мы, конечно,

ругаемся, ругаемся, а в отпуск поедешь, на песочек тёплый ляжешь, вспомнишь своих бичей брезентовых, морды их заросшие, разговоры непечатные – утрёшь слезу, чтоб не увидел кто... и в магазин или в кабак – никак успокоиться не можешь. Как объяснить, а? По ночам родное железо снится, хотя что в нём такого, в железе? Тяжесть одна...

Помолчали.

– Да-а, борьба противоположностей, – проговорил Юрик.

– Во-во, борьба... Вот и думай, Юрок, как хочешь, а только если есть на свете земля, на которой каждому человеку потоптаться надо, чтоб узнать про себя, какой он и кто он, так здесь она, земля эта... Как говорится, за полярным кругом.

Коротаев опять плюнул в воду, щёлкнул туда же изжёванную «беломорину» и потянулся за бутылкой:

– А забрало-о! Это на вчерашнее, да и ночь не спал.

...Стало холодать: солнце скрылось в клубах то ли облаков, то ли тумана, спустился, потянул над водой ветерок...

– Пойдём, Вениамин... Как я тебя через посёлок поташу?

– ...Счас чебак идёт... как раз... ух, я его ловил... бывало... могу эту... удочку дать... грузило-то... того... Юраха... держись... может, здесь приляжем, а?...хороший ты мой... одна надежда – на тебя...

Пока вылезали в крутой берег, Коротаева окончательно развезло. Юрику пришлось обхватить его под руки и почти тащить на себе. И хотя рядом никого не было, безлюдный песчаный откос, Юрик вспотел. Он вдруг представил, что будет, если его встретит Глушков. Да-а, скажет, глядя в упор: «Что ж ты, практикант? Нажрался! Геологию позоришь? И с кем?! С алкашом Вениамином Коротаевым! Позор!». И действительно, Юрик вдруг стал стыдиться Коротаева, в стельку пьяного, в измыганом обвислом пиджаке, в съехавшей кепчонке, на полу-согнутых, да ещё недопитая бутылка торчит из кармана... Юрик оглянулся – нет, нельзя его оставить, быстро надо, быстро. И, если до этого он старался тащить Коротаева аккуратно, с частыми передышками, как больного, то теперь, уже отделив себя от него, стал покрикивать и толкать кулаком в тощие рёбра, чтоб не заснул на ходу.

У вагончика на ящиках сидели двое в тулупах и курили.

– А-а, дядя Веник! Наквасился! – и оба засмеялись.

Подтащив Коротаева к двери, Юрик, задыхаясь, попросил:

– Подержите его, ребята.

– А ты брось его пока, потом подберёшь.

И заржали.

Юрик посадил Коротаева на землю, спиной к стенке вагончика, и полез за ключом.

«Ну, тяжел же, северянин», – думал Юрик, заволакивая Коротаева на кровать. Стащил с него сапоги, поднял с затоптанного пола коротаевскую кепочку и вышел на воздух. Парни всё сидели, делать им явно было нечего.

– Живёшь, тут, что ли?

– Ага, меня Глушков поселил, – ответил Юрик.

– Так это вы ночью прилетели. Понятно... Откуда, из Батагая?

– Из Батагая. – Юрик закурил и осторожно спросил:

– А где Глушков?

– Чёрт его знает. Все звонят, спрашивают. Скорее всего, он на рыбалку подался. Он всегда так: никому ни слова, машину спрячет – и дня на три... Соскучился, что ли?

– Нет, просто, – Юрик вспомнил свои недавние страхи, – мы же вместе в порту с утра были, «восьмёрку» загрузили, и он уехал... Я у него денег хотел попросить, а то остался рубль какой-то...

– Всё, теперь бичуй, паря.

Долго молчали.

– Слушай, сосед, а у Коротаяева выпить должно быть! А? Есть?

Юрику вдруг стало обидно за Вениамина и за парней почему-то тоже.

– Нет у него ничего. Перебьётся. – И, повернувшись, пошел от них, взбивая сапогами пыль. Не хотелось Юрику думать об этих своих незнакомых соседях, и он все шёл и шёл куда-то, стараясь избавиться от их назойливых взглядов... И никак не мог.

«Что за люди такие? – думал он. – Неужели пойдут они за тебя смену стоять? И придут к тебе, больному? Не-ет, разные, конечно, у людей интересы, но суть-то одна, человеческая, будь ты бич последний или римский папа. Только в чём она, суть? Запутано-то как всё... Ведь не в том же она, что человек о себе говорит, а в том, что делает! И, если бы увидели мы себя со стороны, скупых и хилых душой, поняли бы, что нельзя презирать человека за стоптанные башмаки и запах изо рта, или просто за то, что он незнаком...».

Хмель незаметно уходил, разбавлялся холодным воздухом. Ветер сразу посвежел, обтекая разгорячённую голову. Юрик увидел промытую чем-то синим даль; противоположный берег большой реки приблизился, – Юрик разглядел даже какие-то постройки; увидел он и дорогу, по которой шагал уже за посёлком, белую, твёрдую, как бетон, с отпечатками ребристых протекторов и траков. Юрик не знал, куда она ведёт: в тундру, в никуда, или в какие-то другие, тоже незнакомые, необжитые, места, где когда-нибудь в будущем, возможно, случиться побывать и ему, совсем ещё молодому, зелёному практиканту.

1981

МАРАФОНЦЫ

В тот год навигация сильно задержалась, но я-то этого не знал и потому прибыл в Посёлок-Раз в конце июля, когда в бухте ещё стоял лёд. Без единой полыньи. В порту было тихо, как на кладбище. Почерневшими корягами торчали изо льда неживые пароходы. Молчали портовые краны, и белые морские птицы бакланы, и люди, и весь Посёлок-Раз, казалось, пригорюнились и тосковал от безделья. И я не узнавал знакомых мест – год назад я сразу попал в такой круговорот, что только держись, дни мелькали – и вздохнуть было некогда – давай, давай! – северная навигация не терпит простоев. Я и давал. Уж что-что, а за такие деньги можно и поупираться, – это всегда пожалуйста, лишь бы пупок выдержал. Люблю, когда вокруг кипит бурная жизнь, – канаты скрипят, и сетки с грузом мелькают, и шестерёнки крутятся, – работаешь, как заводной, аж руки пухнут. Некоторые, наверно, подумают, – этот ради денег на что угодно пойдёт. Нет, объясню сейчас. На флоте главное – кто рядом с тобой, чувство команды, что ли, сообща придумать так и сделать так, чтобы выполнить задачу, сложную или простую – неважно. Главное, чтоб вместе. Не верится? Бывает ещё, бывает... Иначе на море – деревянный бушлат, или плавучий дурдом. А ещё как любой моряк я свободу люблю и независимость, а с деньгами едешь, куда хочешь, покупаешь, что хочешь, а иногда и кого хочешь, и даже на философию тянет, – а ведь это признак, что ни говори.

И вот приехал я в Посёлок-Раз и вижу полное запустение и тоску в глазах мариманов. И даже чайки не кричат, молча летают. Нет, думаю, Васёк, так дело не пойдёт, нужна хоть какая-нибудь культурная программа. Например, номер три: лодка, водка... и молодка.

Без суеты обошёл я все торговые точки и пункты общественного питания – и понял, в конце концов, кого искал. На вид ей, Светлане, было лет двадцать пять, – маленькая, худенькая, чёрненькая, зверёк носатенький, и мило так улыбалась, что я часа полтора простоял у кассы и много чего ей про себя поведал. Даже о том, какой в детстве болезненный был, как пробовал учиться в техникуме, как разгружал по ночам вагоны на нашей станции, которая не доезжая Коломны, если от Москвы ехать. ...Да-а, техникум я потом бросил, потому что женился, и окончательно ушёл в грузчики, но денег нам всё равно не хватало, а скоро и терпение моё кончилось, когда она потребовала... да что теперь говорить, не заладилось, и всё...

Ладно, смотрю, вроде ничего она, Светочка, так это на четвёрочку. Встречал я таких, свиду – икона, но понятно, что тоже хочется, а вот замуж никак выйти не могут, всё честных из себя разыгрывают. Динамо, одним словом. Но эту, Светочку, я даже слегка пожалел, похорошему так. Что, думаю, она из-за этой кассы увидит, и что вообще в жизни видела, но всё же сидит вот и своего принца на горошине торжественно поджидает. Как бомба замедленного действия.

– А как тут у вас, – говорю, – насчёт культурных мероприятий? Может, нам сообща, – говорю, – прикоснуться к миру прекрасного?

И тут эта синичка, эта Светочка, пальчиком так меня поманила, и я, чмо коломенское, через кассу к ней нагибаюсь, а она тихо-тихо, в ухо прямо, так по-простому и говорит: «Шёл бы ты, матросик, левым галсом да с попутным ветром». Мол, рождённый квакать летать не может. Та-ак, думаю, приплыли. Но пока она мне это шептала, понял я, что пьяненькая она! Вот это принцессы пошли! Вот это иконы с мадоннами! Принцам подстать. Завтра, говорю, тогда зайду, на свежую, намекаю, голову. Ну-ну, отвечает, только подумай хорошенько. Вот так.

Вернулся я в гостиницу, – для вербованных на портовые работы, «Моряк» называется, – смотрю, уже ко мне в номер соседей подселили, уже у них закусь на столе и водка между рамами. И одна рожа ну до того знакомая, а кто, откуда – не могу вспомнить. И он вроде на меня поглядывает, потом стакан протянул и говорит:

– Выпей, – говорит, – за наше орденосное пароходство!

– А может, сначала за наше орденосное?

– За твоё будем твою водку пить, а эту – за наше! Понял?

Это у нас всегда так бывает, разминка перед боем, но всё же мелькнула мысль, что для таких, как он, то пароходство родное, куда на работу возьмут. Знаю я эти байки про героев труда и досуга. И у меня таких пароходств – вон, по всему Союзу, так что легко можно выпить хотя бы за одно из них, но вот только челюсть его лошадиная мне не понравилась, а он, видно, гордился ею очень и всё старался её выпятить.

Ну, конечно, выпил я, разговорились, стали вспоминать, где встречаться могли, одних таких портов «река-море» штук тридцать вспомнили, да в каждом капитана порта, да начальника портофлота, да лоцмейстера. А тальманши! Их же бесконечно вспоминать можно! Сидеть так до трёх ночи и имена только перебирать! Эт-то м-мы м-могём! Или мбгем? Что тут выяснять, и так ясно – можем!

Но тут, среди прекрасной белой ночи, – полундра! Стоп, машина! Свистать всех наверх! Спасите наши души! – водка кончилась!!! Кто-то куда-то бегал, кто-то из загашника доставал, но флот никто не опозорил, – такие вот у нас оказались родственные души, а наша тихая беседа перешла, как говорится, в лихую безобразную пьянку. Помню ещё, как один мордатый всё время бил себя в грудь, обтянутую линиялым тельником, оттопыривал слюнявую нижнюю губу и скандально взрёвывал, как тифон: «Мы-ы, мариманы!». Пустая посуда пошла за борт с четвёртого этажа, ох и весело было – дорвались, мариманы.

Только-только уснули под утро, уборщица пришла, разбудила, конечно. У нас гадюшник в комнате, – мама родная! – бычки из томата аж на потолок запрыгнули, снизу, из койки, хорошо было видно. Уж она ругалась, ругалась, тётка пожилая, на стену, правда, не полезла, но отвозила мокрой тряпкой по стёртому линолеуму вполне добросовестно, а потом вдруг и говорит:

– Опохмелиться хотите, голуби сизорылые? Есть «Агдам» под парусом, напиток... э-э... «Капитанский чай».

Кто-то несмело так, из-под одеяла, вякнул, что неплохо бы. Да-а, попадись она нам вчера... а сегодня уже тоненько так: «Неплохо бы... Капитанского...» Это самогону, значит.

Потом удалось всё-таки поспать немного, до тех пор, пока гитара в кубрике не появилась. Слышу, уже Славик, знакомец мой, про дым за кормой поёт, что, мол, товарищи, узлы нужно покрепче вязать. И откуда голос такой прорезался! Ну даёт, думаю, ну мастер.

– А «цыганочку», – говорю, – можешь?

– Ты гляди, и «цыганочку» смог.

– А собачий вальс?

Тут у него как пластырь прорвало:

– Я, – говорит, – на море незаменимый человек, на любой корабль, мол, с руками оторвут, а почему? – Эффектную паузу сделал, в которую кто-то смачно так и впечатал с разворота – А потому, что гражданская позиция есть: увидел водку – уничтожь!

Слышно было, как Славик швартовыми заскрипел, а от конского этого гогота дверь распахнулась. И все увидели на пороге сизоватого мужика в семейных трусах с пятилитровым чайником в руке.

– Слышь, на «Медузе»! – прохрипел он. – Ещё раз чайник у пожарников возьмёте, головки ваши бедовые забью по самую ватерлинию! Этим же чайником!

Дверь от сквозняка захлопнулась, гогот грянул ещё сильнее...

– Всё ржёте, ну-ну. А у кого из вас биография чистая, чтоб загранпаспорт получить, а?

Кому ты, думаю, нужен, бич несчастный, со своим загранпаспортом. Что же ты с Дальнего Востока сюда прикатил, если ценят тебя и твою незапятнанную биографию. Незаменимых-то нету, дружок, а в нашей стране и быть не может. Сможешь сам себе цену назначить – выживешь, не сможешь...

Потому что кроме тебя её никто не знает.

– Лучше-е лежать на дне-е! – заблажил Славик. – В синей прохла-адной мгле-е!..

Лежал я, лежал, и вспомнил, что нужно же к Светке зайти. Эх, Светочка, любовь моя неспетая! Представил я вдруг, что прогуливаемся мы с ней по древнему городу Коломне, что весна везде, а мы идём, идём, и сквозь зеленоватый такой туман вижу я кремлёвскую стену, и Светку, маленькую, с короткой чёлочкой, на фоне этой капитальной стены, отстроенной коломенским стройуправлением. Ну, ласточка и только. И тогда беру я её...

– ... Старшим матросом был, и боцманом, сам Кучеренко грамотой меня наградил и руку пожал, – разорлся Славик. – Вот так, ребята, шары на стоп...

Подумаешь, Кучеренко.

– Мы-ы, мар-риманы! – взревел полосатый.

Воды у нас на этаже уже не было, ёмкости хватало только на полдня. Или, может, придерживали слегка: вода-то привозная, водовозки так и снуют по посёлку, возят, возят, а умыться всё равно нечем. Пришлось черпать из бочки, откуда уборщицы воду берут. А иногда в ней и ноги полощут. Ну да ничего, мы не брезгливые.

Когда я вернулся к себе, весь народ разглядывал что-то за окном в заливе. Небольшой ледокольный буксир с жёлтой прямоугольной рубкой ёрзал в полынье, как в ванне, пытался расширить её, дымя на всю ивановскую.

– Не выдержали... – сказал кто-то.

Зря это всё. По шапке только получают...

– Да ну, кеп свой, отмажется.

Буксир подёргался ещё немного и затих. «Настоящие-то мариманы там сейчас, готовы, небось, топорами лёд рубить, лишь бы выбраться», – подумал я. И так мне захотелось туда, на этот малохолдный буксирчик, схватить багор какой-нибудь и долбить проклятый лёд. Чтоб только брызги в стороны летели. Я даже почувствовал на лице их холодные уколы. Эх, мариманы...

– Славик, насыпай!

...Из гостиницы мне удалось выбраться довольно быстро, имелся, правда, небольшой крен, но в целом ничего, и я отправился в столовую, к Светке, но сначала побродил между домами, продышался, вышел на берег, покидал в воду камешки – в маленьком заливчике лёд уже сошёл, свежий ветер рябил поверхность воды. Сыпал мелкий дождичек, холодная морось. С бухты стеной напознал туман, настолько плотный, что хотелось бежать от него, как от лавины. Но я всё стоял и ждал, пока ледяная пелена проглотит доисторические головы кранов и кустики корабельных мачт. На буксир мне уже не хотелось, а тянуло – и сам я не знал куда. Лишь бы только двигаться. Не стоять на месте. Просто зуд в ногах появился при одной мысли, что таких дней, как этот, будет ещё предостаточно.

От холодного ветра и водяной пыли наступило, наконец, прояснение в мозгах, и я потопал дальше. Пока я торчал на берегу, на улицах появилось население: хмельная братва слонялась по главной улице, мимо белёсых афиш Клуба моряка, от магазина к магазину, сразу было видно, что это сезонники – в ярких курточках, патлатые, с красными рожами. Много было флотских, курсанты речных училищ в лихо смятых фуражках, с потемневшими якобы от морской воды эмблемами – «капустники». А вот демобилизованные морячки с остатками бывшего шика, девицы, разодетые в пух-прах, из одесского, говорят, корабельного института. Надо же, куда забралась! Понаехало народу, местных и не видно. Вот и я, такой же одуревший от водки бич, как и остальные. Хожу, брожу, подмётки протираю, бездомный, бессемейный. Пятнадцать навигаций за спиной, а дальше что? Раньше хоть идея была, все в покорители рвались. «Мы – хозяйева планеты!» – море по колено, тайга травой ложилась. Был и я когда-то дураком таким, что верил всем этим лозунгам и радовался вместе с другими такими же дураками, пока не допетрил, что это просто-напросто фраза газетная, для чокнутых на этой роман-

тике. По мне так можно в грязи и в холоде, была бы идея стоящая... А где она, в чём? Только не надо мне про бешеного Павку напоминать, – это всё, как говорил мой корешок покойный Витя Ерофеев, красная агитка, хотя сам сколько раз флаг поднимал со слезами на глазах. Ну и подфлажные получал, конечно. А выходит-то так, что одни строят, а другие разрушают... Бессмыслица какая-то получается, ведь деньги и за то, и за другое платят.

Так я и добрёл до столовой, постоял у входа, покурил, думал идти-не идти, но зашёл – перекусить-то всё равно надо. Оказалось, зря топтался и грустил красиво – домой ушла. Тут я завёлся с пол-оборота: как это – ушла?! Спрашиваю, где её найти, а кассирша оглядела меня с ног до головы, смерила взглядом точнее, и говорит:

– Вот ещё, алкашам всяким телефон приличной девушки давать!

Эх ты, клуша, думаю, про телефон-то проговорила, и намекаю, мол, посылочку нужно ей передать с материка. Помидоры, говорю, сами понимаете. Поглядела она на меня поверх очков, прокрутила что-то в голове, губы поджала:

– Ладно уж, запоминайте...

Выскочил я на дождь и затопал на почту, голова дурная, – вот и ногам работа. По телефону я голос сначала не узнал и спросил Светлану.

– Это я, – сказала трубка.

Ну, я и начал ей о том, о сём, про погоду, про тоску, а в конце про помидоры. Она коротко хихикнула.

Евгения Ивановна, заведующая, она себя ответственной за нас считает, курить даже не разрешает, ужас какой-то.

И тогда я, как в том анекдоте про луну и балалайку, сходу приглашаю Светочку в ресторан.

– В рестора-ан? – радости в её голосе не чувствовалась. И потом, как бы для себя, добавила, тихо так: – Какие вы все одинаковые...

Ну точно, принца ждёт, не иначе, и судя по всему, не маримана. Тут же лётчики с московского рейса ошиваются – «московская электричка» – один раз в двое суток, сюда – парфюмерию, отсюда – тушёнку. А вертолётчики с суровыми лицами! И я сразу представил, как они стоят у её кассы, небрежно так кожаночку распахнув, и заливают про то, какие они соколы, и глаза щурят, будто от солнца или встречного ветра.

Я уже хотел трубку на рычаг бросить, грохнуть, что есть силы, как вдруг оттуда донеслось: – Ну, хорошо, – как будто её так уговаривали, так уламывали. – В восемь, у входа. – И вздохнула. Тогда я про неё не знал ещё ничего и потому подумал: «Вот женская логика, ничего себе переходы, а?».

– Буду ждать, – говорю, – как соловей лета.

– Посмотрим, – это она мне. – Ну, до вечера?

А до этого самого вечера было ещё бесконечных полдня, и мне – хочешь-не хочешь – нужно было идти в гостиницу. Больше-то некуда.

«Моряк» гудел, как улей. Когда я открыл дверь в номер, меня чуть не вышибло обратно в коридор.

– Я р-родился на Волге-е в семье-е р-рыбака-а! – Душа у них, видно, была уже в положении «развернуто». Сейчас, думаю, должны придти заворачивать. Администрация тут в прямом смысле битая и тёртая, за словом в карман не полезет и жалости себе не позволит.

– Идёт Васюрик в ко-ожаном реглане, а на груди-и ударника значок, – пьяным голосом пропел Славик.

Смотри-ка, ещё соображает.

– Вася, друг, садись к нам! Давай с тобой на бу... на бру... дер...

Ну что мылишься, думаю, тошно тебе, служивый, на трезвого смотреть, у самого-то уже из ушей сочится. Такому волю дай, он весь посёлок упоит, и денег не пожалеет, чтобы

всех к общему знаменателю привести, потому что дураками опоенными и командовать проще, и быть своим в доску, – что ни скажешь – всё сойдет, что ни сделаешь – сгодится, подливай только вовремя, а вот тот, кто с ним пить не захочет – этот уже опасен, – личное мнение есть! А значит – первый враг, обида сразу кровная, которую пока и затаить можно, а как-нибудь потом, при случае, да из-за угла-то...

За столом знакомых не было, кроме полосатого. Линялый тельник у него на груди был разодран, виднелся коренастый орёл, несущий в когтях голубую русалку. Он себя, наверно, таким орлом вообразил, когда тельник рвал.

– Что же вы так орёте, – говорю, – что на первом этаже фикус завял.

– Да что с тобой, Вася, – Славик говорит, – будь ты проще...

Все мы, думаю, простые, такие простые, когда желания зальём. Все сложности по трезвянке начинаются. И я, конечно, не удержался, постарался быть простым, пока не бухнулся в одежде на кровать, но успел ещё подумать: «А не завязать ли мне эту собачью жизнь? Взять вот и женится на Светке. А?».

Проснулся я от духоты, солнечный луч нахально бил под веки, комната была заполнена солнцем и чьим-то храпом. Полосатый, наверно, надрывался, как раненый бегемот. Я прикрыл глаза и полежал несколько минут, крепко зажмурившись, слушая звуки джунглей, и ждал со страхом, что вот-вот у него внутри что-нибудь лопнет от напряжения, и наступит тревожная нехорошая тишина.

Часов на руке не было, я пошарил по полу рядом с кроватью. Ага, вот. Старенькие «Командирские» показывали без четверти восемь – утра или вечера? Пришлось резво вскакивать и пробираться к окну, цепляясь за стулья, увешанные одеждой. На стол лучше было не смотреть. Рама долго не поддавалась, и мне вдруг бросилось в глаза, что нетерпеливый буксир исчез. Ну, даёт, продвинулся метров на триста, лёгкий дымок из трубы и вымпел лежали на ветру. А потом я увидел, что на улице полно народу, и услышал, как громыхает на колдобинах рейсовый автобус, и подумал, что успею, пожалуй, добежать до ресторана. Голова, однако, гудела, как телеграфный столб, и я опять пожалел, что затеял эту амурную историю. Свет на ней клином, что ли, сошёл! Беги теперь, пацан, развлекай её, лезь из кожи, хотя тут всё просто, как яблоко из райского сада, ведь все люди лезут в постель друг к другу, стремясь только к одному – к пониманию. Чтоб пригрели и пожалели.

Собирался я быстро, как по водяной тревоге. Хорошо, нашлась чистая рубашка, свитер, а брюки уже сутки под матрасом пролежали, отгладились. Прихватил курточку – она высохла уже – и побежал, как очумелый. Пивка бы сейчас, думаю, для рывка, только здесь его днём с огнём не найдёшь, бутылку водки дают, не жалеют. Но мечтать мечтаю, а сам лечу на всех парах и вижу синюю вывеску с белыми буквами «Север». И толпу у дверей вижу... Мать честная, стол-то я не заказал! Забыл. Но иду, и кроме злости на себя никаких чувств откопать не могу. И уже вижу её, и деваться мне некуда.

– Здрасьте, – говорю, – что это вы здесь делаете?

– Тебя ждём, – говорит. Тут только и дошло до меня, что рядом с ней стоит Славик, гитарист из орденосного пароходства, в тёмных очках и в плащике, и незнакомая рыжая девица с прозрачными глазами. И когда он, Славик, оклематься успел, да ещё рыжую эту подцепить? А он уже и челюсть свою выпятил:

Веди нас, – говорит, – туда, куда других мамы не пускают, а то заждались уже.

А я молчу, и они все трое на меня смотрят, а в руке у Славика магнитофон, и там негры поют густыми голосами. Про марафон что-то. Повторяют всё время: «марафон, марафон». А Светка уже на руке у меня повисла и тянет под синюю вывеску.

– А вы знакомы? – спрашивает и на Славика смотрит.

– А как же, – отвечаю, – ещё с гражданской.

Рыжая так и залилась.

– Ну, ты юморной, – говорит, – а сразу не подумаешь.

– Пошли на природу лучше, – сказала вдруг Светка, и мне стало понятно, что это я её к ресторану подталкивал. Как к пропасти. Ведь не знал ничего, хотя мне уже всё равно было.

Славику тоже было всё равно, он и не выступал, а рыжая поломалась немного для вида и согласилась.

– Сейчас догоню, – Славик говорит, – идите. – И побежал обратно к ресторану. Известно, зачем. И подруги эти тоже, видно, знали, потому что сразу между собой о чём-то зашебетали. Я иду себе, магнитофон несу, и «марафон» всё продолжается. Чем же это всё кончится, думаю?

А над бухтой – тишина, такая, что хоть руками трогай. Лёд блестит, плавится потихоньку на солнце. Вдалеке виден плоский островок и рядом с ним на отмели накренившийся силуэт корабля бортом воду черпает, – мёртвый корабль у мёртвого острова. Откололся от большой земли – всё, не нужен ты никому, вот они и собираются вместе, осколки эти. Значит, нужны – друг другу.

Славик нас быстро догнал, и мы пошли, пошли по дорожной насыпи, захрустели щебёнкой, и дальше через большущую наледь, грязную и ноздреватую, мимо облупленного баркаса с надписью «Шквал», и мимо свалки-помойки, где уже официально кончался посёлок, а потом решили спуститься вниз, на прошлогоднюю траву. Мы со Славиком остановились прикурить, и он сразу зашептал:

– Как приступать-то будем?

– Чёрт его знает, – говорю.

– Кислый ты какой-то, – сказал Славка. – Всё думаешь о чём-то. Может, на тебя Зойку напустить? Она быстро расшевелит... Ну, ладно, что ты, шучу... Люблю такой *тип*, вертлявые и простые. Даже муж её из-за этого бросил. А я люблю, когда без всякой философии, шары на стоп, и понеслась...

– Понесёшься тут. Как фанера над Пентагоном.

– Да, твоя-то... культурная, сразу видно, – Славик снял очки и нёс их этак на отлёте, левый глаз у него был синий и запухший. – О чем вы с ней говорите, спорите, да? Есть ли жизнь на Марсе? – И засмеялся. – Я, – говорит, – когда на тихоокеанском служил...

– Всё, мальчики, пришли! – крикнула Зойка. – Идите сюда!

Вертолётный остов гремел на ветру порванной дюралевой обшивкой. Лопастей и двигателя не было, а запчастей вокруг валялось – на три вертолёта хватит.

– Отыгрался хрен на скрипке, – зло сказал Славик.

– Ага... – Я подумал, почему машинные свалки не называют свалками, а говорят – кладбище. Как вот это, вертолётное – последняя посадка, аэропорт вечной приписки. Всё как у людей, – характер, душа, или что там у них у железных, ну и трудовая биография само собой. И приют, похожий на этот пустырь.

Славик залез внутрь, погромел там чем-то.

– А здесь ничего, кубрик, что надо... И не дует. Зойчик, давай сюда.

Светка бродила по распадку, высматривала что-то на земле, а я забрался в кабину, сел на командирское место и поставил ноги на педали: сокол да и только... Улететь бы сейчас, куда глаза глядят, на тот островок хотя бы, к погибшему собрату-кораблю, или ещё дальше, куда получится.

– Э, кто там? Сыплется что-то...

Всё, полёт закончился – приземлились. Сзади, в железной утробе, кто-то возится, Светка улыбается, смотрит снизу вверх на меня. Я ей тоже помахал, полетели, мол, и спустился по внутренней лесенке в бывший салон. Нарочно гремел посильнее, чтоб они меня заранее услышали. Оказалось, зря старался – сидят себе покуривают. Посредине на железном полу ящик, и на нём всё, что нужно для простой жизни. Закуски только кот наплакал, а так Славик

постарался. Натюрморт «Прощай, разум». Нет, думаю, сегодня я вам не дамся, на остров улетаю. Необитаемый.

Тут и Светка просунулась.

– Ого, – говорит, – хорошо устроились. – И рядом со мной села. Славик музыку включил и вокруг Зойки обвился, змей подколодный. Только что-то у них там не ладилось. Она всё руки его загребущие от себя отлепляла, – цену, что ли, набивала? – а потом говорит, зло так, но понятно, что оформились:

– Утомонись, надоел уже.

И скис наш супермен, дровосек наш железный, и даже челюсть свою с лязгом задвинул. И начали мы пить. А я, чем больше на Светку смотрел, тем больше удивлялся. Она разливать взялась, да хитро как-то, по пальцу мерила. Ах, думаю, тихони, всех вас в своё время бес попутал, а распутать позабыл.

Скоро мне хорошо стало, уже готов я был весь мир объять, но обнимал пока лишь только одну Светку. Любил я уже всех, и даже Славика, и притворяться не надо было. И тут ещё «марафон» опять начался, – одна кассета, видно, была, её и гоняли по кругу. Славик уже немного воспрянул и сразу начал байку травить. Решил, видно, не мытьём, так катаньем.

– Сначала мы, – говорит, – во льдах застряли, в Северной Атлантике. Трое суток на одном месте крутились, чтобы полынья не замёрзла. Думали уже на зимовку остаёмся, начали харч притыривать, но тут на наше счастье пришёл циклон, потом шторм налетел, лёд взломало, и мы, как ледовые герои, пошли, значит, на randevу, а «randevу» – это...

– Да знаем, знаем, – сказала Зойка. – Бывали!

А я, к Светке наклонившись, нажал кое-куда и говорю:

– А ты знаешь?

– Разве это так важно? – она мне отвечает и руку мою отталкивает. Вот тебе и randevу.

– Идём, значит, почти при штиле. Вода, как масло, тяжёлая, густая. Тума-ан – глаз коли. Нам бы потихоньку идти-то, а мы опаздываем уже и шпарим, конечно же, на полном. Район пустынный, вдалеке от... этих... от путей... Светик, сделай-ка там... Во-во. Ну а я как раз вахту стоял в рубке. Смотрю вперёд: такое впечатление, что на месте стоим, а туман обтекает нас. Во, обман какой бывает. И вдруг слышу: вроде музыка где-то играет. Прислушался – ничего, в ушах только звенит. Потом опять, волнами какими-то. Музыка, докладываю, товарищ штурман, прямо по курсу. А он отвечает: не хор ли Пятницкого, говорит, нам навстречу выслали? Никак нет, говорю. Я уставы знаю, по-уставному ему, раздолбаю. Потом осторожно так намекаю: может, ход сбросим? А он, надулся весь: разговорчики! Тоже знает, чем достать. Потом говорит: ну-ка выйди, посвети прожектором, вроде и правда музыка. Есть, говорю, посветить. И только я вышел... Светик, не спи, в горле пересохло... Ты глянь, Вась, глянь, как она разливает. Это ж надо, а? Ты где научилась?

– Вот пристал, – не выдержала Зойка. – Что дальше-то?

– Что-что, закусить-то дай... Ну вот. Только я вышел, а из тумана, навстречу прямо, ну лоб в лоб, несётся, скажу я вам, огромный пароход, огнями весь светится. «Летучий Голландец» типа. Или «Титаник». И музыка эта... А на палубе – никого. У меня волосы... дыбом встали!

Голос у него задрожал. Пьяно прищурившись, он вглядывался некоторое время в пустынный горизонт. Тут я ему почти поверил.

– А музыка – вроде «марафона» этого, на всю Арктику долбают. Капиталисты, мать их... Путешествуют... Я-то в рубку обратно, а куда там, он уже над нами навис. Нажрались, кричу, сволочи, шары позаливали... Ну, в общем...

Славик собственноручно уже плесканул себе, долго занюхивал – выдерживал паузу. Знаю я эти штучки, могут ещё мариманы, могут. Зойка извертелась вся, а Светка сидит, покуривает

и смотрит на нашего супермена сквозь дым туманным взором. Дескать, трави-трави, и не такое слышали.

– Ну, в общем, дал он нам в левую скулу и прошёлся вдоль всего борта, да так, что брашпиль сорвало, и он вместе с якорной цепью и якорями за борт улетел, правым якорем носовую тамбучину расплющило и срезало, как пилой, хорошо лаз из кубрика остался. Завертелись мы, как карусель под «Севастопольский вальс». У штурмана шишка на лбу, водит его, как пьяного, а я руки от поручня отцепить не могу. Ну что, Святослав? – сам себя спрашиваю, – шары на стоп? В машинном отделении дыра, вахтенного механика задавило, вода поступает в критическом объёме, откачка бесполезна. Дали «СОС» – спасайся, кто может. Ну, дальше известно что – паника, все за чемоданы и к баркасам. Все орут, старпом в воздух стреляет, а чемоданы бросать никто не хочет. Мы же после заходов уже шли-то, шмутьё заграничное везли. Как его бросишь? – лишнего не пили, не ели. У каждого по ковру три на четыре и коробка с дублёнкой. Тогда старпом, враг номер один, встал у кран-балки и кричит: кто с чемоданом полезет – убью к едреней матери на месте! Мне терять нечего! Что с ним сделаешь, с психом? Стали чемоданы за борт кидать – может, выплывут куда, а сами по баркасам да по шлюпкам. И вовремя, а то – потонули бы вместе с пароходом...

Светка загремела бутылкой, а Зойка смахнула со щеки слезу и закурила, зажав сигарету дрожащими пальцами.

– Час качаемся, два, – продолжал Славик, – холодрыга, повыскакивали кто в чём. В шлюпочном НЗ половины, конечно, нету, но держимся, кто на мате, кто на анекдотах. Стали иностранцы подходить, спасатели, кричат, машут, мол, к нам давай, рашн водка гуд, а наши капитан со старпомом наорались уже, бедняги, охрипли, но тут опять у них голос прорезался, – нет, орут, у нас всё хорошо, всё о`кей, помощь не нужна – оба на своих тюках ковровых сидят. Спасли валюту, спасли-и! Иностранцам шиш чего за наше спасение отломилось. Н-да-а, вот так мы и дрейфовали, вместе с пароходами, старпом от бортов веслом отпихивался, пока не подошёл рыбачок наш калининградский.

– А за барахло-то возместили? – спрашиваю его.

– Как же! Не знаешь, что ли, как это бывает? У нас в трюмах полплана было – сколько уродовались! Да шмуток потонуло сколько, а нам по четыреста рублей на нос! Шары на стоп, гуляй, матросы...

Старая обида, видно, из Славика попёрла, и он сердито так на нас посматривал и изо всех сил сигаретой затягивался, так, что щёки западали, а фингал его пылал кровожадно.

– Герои ледовые?! – заорала вдруг Зойка. – Алкоголики вы, а не герои! Шмутки вам жалко стало, тряпье они заграничное, видите ли, спасали, добытчики! А Толик, мой Толик, он бы вам показал, тряпишникам, – кричала она в запале. – Зачем оно, добро это, забито вон всё, а толку от него, когда Толик мой... там... остался, в морях ваших... проклятых... Остался, понятно?! – Зойка некрасиво заплакала, вытирая лицо рукавом.

Славик положил ей руку на плечо и растерянно моргал запухшим глазом.

– Видеть вас не хочу! – снова зарыдала Зойка и сбросила Славикову руку. – Это называется в ресторан пригласил, да?! Что смотришь? Щас второй навешаю!

Ну вот, погуляли.

Я выглянул наружу: ночное солнце проходило севером, двигалось на восток, не день, не ночь, – вечное утро. Светка, поддержала подружку за локоть, протиснулась с нею в дверь. Ох, и хороши же они были, как только не промахнулись. Жаль, не успели про Марс поговорить. Я бы вот что сказал по этому вопросу: если бы жили где-нибудь марсиане с высшим разумом, то обязательно изучать бы нас стали, на предмет всяких там глобальных опасностей. И вот интересно, что бы они у нас на первое место поставили? Ну, война, рак, – это понятно всё, но мы-то после войны родились и не знаем, что это такое, а про рак только в книжках – дай бог! – читали, а вот пройди сейчас по посёлку: лежат тела на обочинах, у пивных, у магази-

нов. Убитые? Раненые? Чумные? Незарегистрированная эпидемия! Вот и марсианин, наверно, посмотрел-посмотрел бы на нас, плюнул да и подался бы обратно на свой родной Марс от греха подальше. Страшно, небось, стало, ведь мы-то за какие-то сорок лет спились. Как раз за эру космонавтики. До Марса далеко, ну ничего, скоро мы их и там достанем.

– А если проще, есть тост! За Марс без водки!!!

К дороге выбирались долго и трудно. Славик к тому же магнитофон забыл – думал-то не о том, бежал за Зойкой, как телёнок за выменем, – и ему пришлось возвращаться. А мы потихонечку так и добрались до насыпи и встали покурить. Подруги оклемались немного, прошлись по кочкам-то. Ну, шалавы. Особенно эта, птичка-ласточка...

– Дай-ка, – говорит, – закурить, – а сама на полуслове замолчала, побледнела вся, глаза закрыла и – хлоп! – улеглась на пыльную щебёнку.

Ну, думаю, приплыли. Полный отруб.

– Света! – Зойка опустила на колени и кричала, как в лесу, но, странное дело, никак не могла докричаться. – Что с тобой?!

Светкина щека была того же цвета, что и пыль, губы только чернели.

– Сунь ей два пальца, сразу полегчает.

– Света, дыши! – Это Зойка лупила уже что есть силы по серым щекам. Тут и я начал кое-что соображать. – Умерла... Пульса нет... – рыдала Зойка, и голос ее был полон бессильной злости. Её просто трясло, так она, видно, обозлилась. Всю жизнь о смерти думаем, а когда она тут как тут, не готовыми к ней оказываемся, не можем, выходит, постоять за себя и своих близких. Есть от чего разозлиться. И я тоже не знал, чем ей помочь, *что* делать. Стоял столбом и смотрел, как в театре. Не верилось, что все это наяву происходит, на моих глазах, потому что вокруг ну ничего не изменилось! Как же это, а?

– Ты, фраер, дави сюда, – зло сказала Зойка, – дави и отпускай. – А сама глубоко вздохнула и припала ртом к чёрным этим губам. Как будто от чужих глаз закрыла. И правда, смотреть на них было неприятно.

– Да не стой ты, пень с глазами, – снова зашипела Зойка. И мы заработали, заработали, как заведённые, как... я не знаю кто. Но думал я уже, если вообще думал о чем-нибудь, не о смерти, а о том, какая же это трудная работа. Руки-утоги налились чугуном, неподъёмной тяжестью, и я уже, наверно, не помогал, а крушил тоненькие Светкины рёбрышки. Мне до слёз хотелось, чтоб она ожила. Что же это за работа, если результатов не видно? «Пень с глазами, пень с глазами», – шептал я бездумно... И что-то билось у меня под горлом.

– Эй, на дебаркадере! – донёсся откуда-то издалека голос Славика, страдальца неудовлетворенного. Он так, видно, и не понял, что к чему, нёс как всегда что-то из своих севастопольских рассказов, и тишина, окружавшая нас, ушла, взлетела куда-то вверх, как будто лопнул тугой и плотный пузырь, из которого хлынула лавина звуков. Я услышал скрип щебёнки, посвист ветра, хриплое и тяжёлое Зойкино дыхание. Я услышал, как светит солнце, и как движется над землёй ночь, – вот она, оказывается, какая – Вечная Тишина. И ещё я услышал этот проклятый «марафон», и увидел Славкины ботинки, заляпанные грязью, и низ его обтрёпанных брюк. И тогда Зойка сказала ему что-то, а я никак не мог разжать зубы и всё смотрел, как удаляются, не торопясь, эти обшарканные ботинки и уже тихо его ненавидел.

Зойка устала, и мы поменялись, и я полной грудью вобрал холодный прозрачный воздух, наполненный солнцем, и выдохнул его вместе с перегаром, изо всех сил прижавшись к чёрным опавшим губам.

Нет, она не хочет возвращаться...

Плыл перед глазами кровавый туман, надвигался, нависал над дорогой, и ветер качал его тугие струи... Кто-то пнул меня в бок, я поднялся, переполз на четвереньках и снова заработал, как автомат: вниз-вверх, вниз-вверх...

А потом мы со Славиком сидели в металлическом кузове, и вокруг грохотало и тряслось, и ржавая бочка прыгала, как живая, и мы отпихивали её ногами, а позади самосвала качался столб оранжевой пыли; был длинный пустой коридор и звон в ушах. И кто-то в белом халате бежал на кривых ногах по освещённому солнцем коридору... Сухой воздух царапал глотку, воды, воды, воды...

Славик держал Светку за руки, а я за ноги, и мы медленно поднимались по лестнице. Удерживать навесу Светку, такую маленькую на вид, было просто невозможно, и мы клали её прямо на ступеньки головой вниз. И снова брались, и снова клали. Голова её откидывалась, рот безвольно открывался, одежда сползала с провисшего тела, и не было, наверное, на свете ничего более дурацкого, чем это бесконечное восхождение с элементами ёрзанья на месте. Но мы очень торопились, хотя нас никто не подгонял, и мы не нанимались таскать на третий этаж без лифта, а там, наверху, не ждали цветы и награды. С нас, как с кочегаров, катил пот, но Славик, бугай ненормальный, все пёр и пёр и останавливался, только когда Светкины ноги выскальзывали из моих обессиленных рук и грохались об лестницу. Славик ждал, пока я ухватюсь, и всё начиналось сначала. Зойка помогала, как могла, и всё время пыталась натянуть задравшуюся рубашку на непослушную, оголившуюся Светкину грудь. Мы задыхались, и запинаясь за каждую ступеньку, а наверху в белом халате стоял кто-то и молча смотрел на нас.

В палате, – стараясь ничего не задеть, такое всё вокруг было чистое и хрупкое, – мы уложили Светку на клеёчатую кушетку. Славик тут же испарился, а я медлил уходить, переминался с ноги на ногу, как будто всё ещё могло чудесным образом исправиться и превратиться в безобидную игру. Хотелось крикнуть: хватит уже, хватит притворяться, вставай и пошли! А вокруг неё уже засуетились, забегали. Я одёрнул на Светке рубашку и отступил на пару шагов.

– Вместе пили? – это уже мне. – Любуешься? – Я успел заметить выражение брезгливости на лице медсестры, готовившей шприц, и напоследок услышал: – Такая молодая, а второй раз уже...

Славик и Зойка сидели в коридоре на подоконнике, – грязные, растрёпанные, покрытые пылью с ног до головы, в потёках нездорового пота, а у меня весь бок был то ли в мазуте, то ли в масле. А, всё равно теперь.

Славик сидел прямой и каменный, как скифская баба, – где-то я её видел? – только у бабы в руках чаша каменная, не для воды, конечно, а у этого – магнитофон, набитый сексуальными негритянскими голосами, которые шептали своё заветное слово «марафон». Как не расползались они вокруг, больничная тишина загнала их всё-таки в конец коридора. Но они выхлестывали, вырывались оттуда, полные бешеной шизофренической энергии, в ушах начинал тогда завывать кто-то грубым утробным рыком, которому вторили тонкие подголоски, начинавшие вдруг сбиваться с ритма и частить, рык пытался их догнать и припадал к самому уху: «У-ха-ха-а!».

– Жить будет, – сказал Славка, – куда она, на фиг, денется, и не таких откачивали. Вон у нас на плавбазе буфетчица была...

– Заткнулся бы ты, – говорю, – хоть ненадолго.

Время тянулось медленно, как на стояночной вахте. За дверью было тихо, иногда только что-то еле слышно звякало. Рыжая Зойка смотрела куда-то мимо нас, что она там такое видела? О чём думала?

Славик вдруг встrepенулся и даже магнитофон свой выключил и от груди оторвал.

– Слушай, Вася, а что, если в пароходстве узнают?

– Не бойся, – говорю, – с пароходства из-за тебя ордена не снимают.

– Да нет, Вася, тут главное сейчас – не проболтаться, – зашептал Славик на весь коридор. – Чтoб не узнал никто, чуешь? – И стал мне в глаза заглядывать честным и выразительным взглядом.

Но я промолчал, не ответил ему ничего, чтобы он, недоумок, помучался. Что зря воздух-то колыхать. Я уже понял, с ним по-другому нужно, – табуретку сначала надеть на голову, а потом уже прописные истины втолковывать. С суперменами только так, иначе доходит плохо.

– Покурить бы, – сказала Зойка. – И попить.

Славик ёрзал на подоконнике, дышал, как больная корова – маялся, бедняга.

Вот так мы и ждали, и мир был пуст и втиснут в этот больничный коридор. Солнечный луч делил его на две части, тёмную и светлую, и умирал у наших ног.

Наконец, дверь отворилась, вышла медсестра и, не глядя на нас, быстро ушла. Вернулась она минут через пять и тут уж конечно увидела всю нашу распрекрасную компанию, мы даже с подоконника спрыгнули.

– Идите, проспите, устроили тут!

На улице на ступеньках мы сели перекурить. Славик нас своими угостил. И тут я подумал: а зачем мы её спасли, что от этого изменилось-то? Ведь бог троицу любит, да и какая разница – в третий раз или в десятый? Он же обязательно наступит!

Ей, может быть, и никакой.

И всё-таки на душе было хорошо. Несмотря ни на что. Не то, чтобы птицы пели, а так, легко как-то. И Зойка, как сидела рядом, так и прижалась ко мне и руку в волосы запустила.

– Холодно, – говорит, и я обнял её и ещё крепче к себе прижал. И так мы сидели долго-долго, а рыжее солнце било сквозь золотые Зойкины волосы, и получался золотой нимб. И если бы солнце погасло вдруг, и на землю хлынула самая чёрная темнота, какая только на свете есть, этот нимб остался бы, и все заблудшие и потерявшие себя во мраке сразу бы увидели, за кем нужно идти...

– Ну что ты, бедненький, не плачь, – шептала Зойка, – не плачь, всё уже кончилось. А я-то испугалась, чуть вместе с ней не умерла... Зачем же мы столько пили, ведь знала же, что у неё сердце слабое... Послушай, Васенька, пойдём ко мне, куда ты грязный такой, я тебе постираю всё, пойдём, а?

– Погоди маленько, уж больно уютно сидим, – проскрежетал Славик. – Так что ты там про Толика несла? Мужа собственного, значит, в покойники записала? Скажи, вот ему скажи, – он кивнул на меня, – кто твоего муженька на московский рейс провожал. Скажи! Чистенькой хочешь быть! Скажи тогда, что тебя муж бросил, и мы с тобой потом год прокувыркались. А то ещё давай к корешу одному заглянем, недалеко тут, магнитофон вот отдадим, выпьем да послушаем заодно, что он нам про тебя расскажет.

Славик изрекал, выдавливал из себя слова, – они тяжело слетали вниз, и воздух вокруг нас становился всё более плотным, густел, затвердевал, и дышать им было уже невозможно. Я чувствовал, как вздрагивает под моей рукой Зойкина спина.

– А то, может, и Васюрика возьмём, поучаствовать...

Я не смог хорошо размахнуться, потому что я сидел, а он стоял, но попытался всё же ногой его достать, а он магнитофоном закрылся, и удар прямо по центру пришелся. Что-то там завывало, как от боли, и негры те сексапильные «марафоном» своим захлебнулись. Не помню, что я такое кричал ему, – Святославу, кажется? – но только он боком-боком и отвалил куда-то, к корешу своему, наверно, подался. Я бы при случае и для кореша такого мешок с апперкотами развязал. Слышу только, из-за угла ветром донесло:

– ...ждите... сволочи...

Да уж, из-за угла-то они все умеют.

Докурили мы с Зойкой и пошли, попылили по дороге, как две букашки по травинке, которым и ползти весело, и летать – в радость.

...А навигация началась только через неделю, когда на бар подошёл атомный ледокол «Полярков», первым протащив «на усах» «пьяный» пароход. В трюмах его было полно воды, –

этикетки на бутылках выщвели от морской соли и отклеились, – но он, бедолага, всё-таки шёл какое-то время своим ходом в караване сквозь ледовые поля, торопился.

Мне повезло, Зойка помогла договориться на гидробазе, и меня взяли матросом-мото-ристом на лоцмейстер на всю навигацию. Оказывается, это он и был, тот самый чокнутый бук-сир, что пробивался через лёд своим ходом.

Зойка дождалась меня, и даже пришла на пирс, когда мы входили в порт уже по серьёз-ному ледку. И я остался в Посёлке-Раз насовсем. Это ведь только кажется, что северная нави-гация короткая, – просто она не терпит простоев.

1982

ПРИЮТ ОХОТНИКОВ

Охотники уже сидели в открытом кузове вездехода ГАЗ-66, дожидаясь запаздывающего егеря Сашку Ныркова, когда медленно и неотвратно повалил снег. Каждую снежинку размером с пятак можно было, не торопясь особо, рассмотреть в вечереющем воздухе, пока она, покачиваясь, падала к примороженной к ночи земле, а потом лежала преспокойно некоторое время на рукаве телогрейки или на брезенте, прикрывающем охотников, искажаясь неуловимо, гася один за другим острые лучики неземного заоблачного света.

Время шло, второй машины всё не было, под брезентом лежали, тихо переговариваясь, – звуки были приглушены падающим снегом, только водитель «шишиги» и начальник партии Ластовский, оба топографы, топтались, покуривая, возле кабины, похрустывали настом. За их спинами можно было разглядеть по-весеннему грязную улицу посёлка, по которой должен был приехать Нырков, серые двухэтажные дома и освещенную фигуру вождя с поднятой рукой. Издали казалось, что какой-то полоумный путник стоит у поворота вот уже битых полчаса, голосуя на дороге, которая заканчивалась в темноте за ближайшим фонарным столбом.

Авдюшин, задумавшись, тупо смотрел на эту хорошо знакомую картину, ничего не видя и не понимая, пока до него не дошло, что лежит он в кузове «шишиги», что идёт снег, что наступила, наконец, весна, что едут они с егерем Сашкой Нырковым на гусей к Лёхе Набатову. А ведь и погоды нет, и чего-то стоим, ждём, и левая нога затекла, а тут всплыла и основная, гложущая сознание мысль, что вот этой уже весной нужно уезжать на материк. Не «пора», не «хочется», а «нужно» и всё.

«Геология давно кончилась, – думал Авдюшин, – народ разъезжается, сколько можно свиные туши таскать, – не жирно ли будет «Колымторгу» грузчика с высшим геологическим образованием иметь!? У них, у торгашей, вместо мозгов – грузчики. Это перетащи сюда, а вот это на то место, где до этого лежало вот то. Тьфу... Дома жена пилит и пилит, – едем, мало тебе, грузчику, платят, е-дем!

Вот, когда сам начальником был, никто куском не попрекал. Попробовали бы только. Всё ведь было! А уж сохатина-оленина, рыба там, нельмушка, чир озёрный, муксун, ряпушка на столе вместо хлеба. Да и сейчас есть...

Ну а главное-то – не жена, не рыба, а вот снег этот последний. Или первый... в сентябре... тихо-тихо так ложится... что слышно, как скрипят по нему заячьи лапы, и вдоль чёрной воды белая полоска... Ну, ты и сказал – главное!».

Тут Авдюшин вспомнил Большой Остров, на котором они искали касситерит, по полгода не вылезая из снега и холода, и особенно тот сентябрьский закат, багровые отблески на косой поверхности снежника, сдуваемые отчётливо синим ветром. Они стояли тогда втроем, один на один с этим сумасшедшим закатом, до него, казалось, можно легко дотянуться, перешагнуть только забитый льдом пролив, мёрзлую лепёшку Малого Острова, и проскользнуть дальше по блистающему ледяному уклону моря Лаптевых к нестерпимо горящим холодным облакам. Вспомнил, как нащупал в кармане полевых штанов забытую с материка десятку, вынул её, невесомую, под этот пронизывающий свет и, глядя, как она бьётся на ветру, спросил:

– Что они сто́ят здесь?

И неожиданно осознал, что всегда относил себя к той меньшей части человечества, которая знает ответ на этот вопрос. Разжал пальцы и едва успел проследить недолгий кувыркающийся полёт бумажного прямоугольничка.

«А ведь если, на самом деле, отбросить все эти мелочи с работой, с зарплатой этой, с вороватыми торгашками, с тем, что и поговорить-то толком не с кем, заглянуть внутрь, туда, откуда вылезает постоянно чувство это, тоски и беспокойства, то ведь окажется-то... Что окажется, ну? А вот то и окажется, что уезжать не хочется. Н-е х-о-ч-е-т-с-я!»

Авдюшин посмотрел в сторону Колымы, закрытой завесой снегопада, и снова увидел голосующего вождя.

«Вот наваждение», – улыбнулся он и шевельнул затёкшей ногой.

– Авдей! Кружку давай! Выпьем, иначе он вообще никогда не приедет!

Как только Боря Клязьмин расплескал по кружкам американский спирт и поставил на заснеженный брезент котелок с десятком очищенных луковиц, сверху по улице прошелся жёлтый луч фар, и второй «шишиган» встал рядом с первым.

Виновато улыбающийся Нырков, в форменном бушлате, перепоясанном потёртым брезентовым патронташем, с рюкзаком и зачехлённым ружьём под мышкой, крикнув, залез в кузов и, перегнувшись через борт, сказал тонким голосом:

– Однаха, трогаемся.

Все, дружно запрокинув головы, выпили, Боря подхватил котелок и заёрзал, освобождая место Ныркову. Ластовский буркнул:

– Наконец-то. – И забрался в кабину.

«Шишига» рванул с места, буксанув всеми четырьмя колёсами, и пошёл, набирая скорость, вдоль реки, потом, у аэродрома, скатился вниз и в фонтанах смерзающихся брызг выскочил на лёд.

Машину слегка водило на гладком льду, в кузов забрасывало выхлоп, но охотники налили ещё по одной, Ныркову двойную, – зимник был уже рядом. Впятером, – двух мужиков Авдюшин видел впервые, но понял, что они из местной военной части, связисты, – в кузове было просторно. Снег немного поутих, развиднелся даже противоположный берег, – чёрной полоской леса в двух километрах от них.

Зимник шёл посреди реки и зимой выглядел лучше иного шоссе, можно ехать быстро: и сто, и двести, если выжмешь, только тормозить на нём – нельзя. Сейчас, в мае, снежные брустверы осели, но талице некуда было деваться, истечь, пока не прогрызёт она, не проест двухметровую ледяную броню, и «шишига» шёл по двум чёрным колеям, казавшимся бездонными, пересекая иногда целые озёра воды.

Ластовский часто останавливал машину, заглядывал в кузов и просил чего-нибудь налить. Прыщавое узкое лицо его было красным, то ли от спирта, то ли от страха. Он гугниво говорил:

– Фу-у, мужики, дайте перекурить. Я уж и дверку не закрываю, жду, вот сейчас, сейчас... На хрена я с вами связался! Машина вот казённая. Если что – не расплачусь.

И тут же начинал смеяться, ухая, как филин.

– Ну, давай, али-да-да, али-нет-нет!

Но пересесть из кабины в кузов никак не хотел. Здесь, под хмурым колымским небом, было совсем нежарко, – а, как известно, даже маленький Ташкент лучше, чем большая Колыма. «Шишига» шёл дальше, словно катер, оставляя позади кильватерный след.

Авдюшина трясло вместе с кузовом, он привычно отрешился от холода и реальности и пьяновато думал о своём.

«Вот Боря Клязьмин. Что ему-то там надо, у Набатика? Гусей, что ли, пострелять больше негде? Хм, может, и негде... Сам-то ты зачем едешь за сто километров? Вот так-то. А у Набатика хороший участок, в лесной зоне, соболя там, хоть... Да и мужик он неплохой, юморной даже... Хотя на первый взгляд и несерьёзный. А что мы, один раз выпивали с ним в посёлке, что можно о человеке сказать после литра на двоих, но – не дурак, нет... Да и чтоб участок промысловый держать, сколько нужно вложить, и труда, и всего... Крутиться надо, сколько в совхоз сдавать, сколько налево. Бензин купи, запчасти достань, приваду заготовь, собак накорми, дров навози-напили... Ужас! А что Боря Клязьмин?.. Пстой, он же в „Малиновой рыбке“ тогда...».

«Рыбкой», а потом «Малиновой рыбкой», называли в посёлке магазин «Рыба». Небольшое, отдельно стоящее над обрывом здание, выкупили у пошатнувшегося с перестройкой рыбозавода местные бандиты, или Краснянская мафия, по названию порта Красный Яр.

В этом магазине было всё, кроме рыбы. Всё, очень важное и притягательное для северного человека, рыбака, охотника, да любого, кто не хотел ходить пешком на рыбалку и охоту и носить зимой и летом чёрную эковскую телогрейку. А краснянские относили её не по одному году.

На полках возлежали перестроечные символы: видеомагнитофон, японский телевизор, видеокамера, и – главное: лодочный мотор, сеть-кукла, болотные сапоги и, и, и... Всё в единственном экземпляре, обычный северный советский дефицит.

За прилавком сидел смурной, нечёсанный продавец с вечной сигаретой в зубах и смотрел боевики, почти никогда не отрываясь от своего занятия, – посетители заходили редко из-за сумасшедших цен. В основном посмотреть на огромный аквариум с живыми золотыми рыбками.

Секрет «Малиновой рыбки» заключался в том, что она работала круглосуточно, а подсобные помещения были забиты палёной водкой. Мужик за прилавком потому и был всегда смурным, что неделями не выходил наружу. Только краснянские и были постоянными покупателями и частенько устраивали там гулянки с музыкой, мордобоем и выпадением из окон.

«Малиновая» – это от слова «малина».

И вот однажды, – Авдюшин слышал этот трёп практически из первых уст, – краснянские пригласили материковского авторитета посетить забытый Богом и ментами Прибрежный край. Переговорить, понятно, о том, о сём, как жить дальше и лучше. Уважение было проставлено, естественно, в «Малиновой рыбке».

Ну, деловой разговор: рыбка такая-сякая, и даже в пресервах, мясо, камушки, бивни, соболя, золотишко, – пошло-поехало! Братва окосела: водка – дармовая, а перспективы – доступные.

«Эх, пацаны! Развернись, судьба, вставлю!».

Давай показывать, на что отмороженные северяне способны. У кого наган гулаговский, у кого китайский ТТ, у кого тесак шириной с весло! Дело среди бела дня было, но стрельба началась, как в тёмном Шервудском лесу: пуля в пулю. Народ в посёлке притих, сторонится «Рыбки» и всё тут. А напротив разгулявшейся харчевни, на берегу реки, находилась районная прокуратура. Вот как раз в окно ему, прокурору, пулю спьяну и всадили... А пуля эта была клязьминская...

«Шишига» замедлил ход, а потом совсем остановился. В сером сумраке виднелся снегоход без капота и силуэт человека, который размахивал руками и что-то кричал в их сторону.

– Колька Чижов, однаха. Забирать его нада, – сказал Нырков, как будто мог видеть сквозь брезентовый капюшон, накинутый на голову.

Авдюшин подивился, что Нырков не только узнал человека в темноте по фигуре, или по снегоходу, но и точно знает, где этот человек должен находиться двадцать первого мая в одиннадцать часов вечера. Все, кто был в кузове, прыгнули на лёд, а Колька уже подогнал «Буран» под красные огни «шишиги». Водила тоже помог, и снегоход ласточкой залетел в кузов. Ластовского же, видимо, совсем сморило, он даже и дверку свою прихлопнул.

Поздоровались, снова дёрнули спирта, перекинулись словом, словно мячиком.

Колька Чижов, начальник совхозного пушного цеха, из ближнего окружения: муж подруги жены Авдюшина. Только Авдюшину до фени были пушные дела, да и скорняцкие, которыми занималась чижовская жена, шила ондатровые «обманки» всему посёлку, – всё-таки детей пятеро! – он к Чижовым и не лез, но общаться было интересно, особенно с Колькой. Чижов был всегда немногословен, невозмутим и независим, пустых разговоров не вёл. Все

действия его были уверенны и красивы, – и печёнку жарил, и корову доил, и карабин держал, и кухлянку носил, и даже ходил как-то красиво.

Волевой мужик, одиночка – так о нём уважительно говорили в посёлке.

И ещё, Колька разделял всё человечество на тех, с кем он здоровается, а с кем – нет. Но делал он это так естественно и необидно, что те, с кем здоровался, ценили любой знак внимания с его стороны, а с кем – нет, сразу понимали, что он спустился с других, заоблачных высот, и зла на него не держали, как журавль на лебедя, – разные стаи. И язык вроде птичий, да непонятный, и перо как перо, а любая пташка в шляпку бы воткнула.

«Ну и компания собралась, – думал Авдюшин. – Ай да Нырков! Якут-якут, а дело туго знает, организовал же, чёрт. Когда на Омолон ходили, сопровождал же нас до Первого камня, как и договаривались. А мог бы и бросить на полпути, – дела, дела.

При нём рука стрелять не поднимается, – вот, бляха-муха, государев человек! – а в запо-веднике и подавно, даже мысли не пришло, а олень хар-роший был, Омолон переплыл как перешёл, рога метра на полтора тянули, вышел, отряхнулся, оглянулся так лениво, постоял и растаял, только попка белая мелькнула...

А пожар когда был на том же Омолоне. Медведи от огня все на Колыму пошли. Сколько же их было! Зоопарк! Сашка сам все стойбища, всех рыбаков объехал, нашёл даже на протоках юкагирский пароход «Тэки Одулок», и тех предупредил, чтоб не стреляли. А ведь у него детей-то шесть-семь, наверное, есть, а зарплата? Во-во, а на этом месте ведь озолотиться можно. А он как ходил в поношенном бушлате, так и ходит.

А Колька Чижов – деловой, районное начальство мехами снабжает, сыт-пьян и нос в табаке, и не подумает никто, что он – романтик, и на весеннюю охоту ездит.

Ластовский тот же – геодезист, нача-альник, пусть и себе на уме.

А Лёха Набатов! Герой-добытчик!

А мы с Нырковым – что? А мы с ним – одной крови, нищие дети природы, – хохотнул про себя Авдюшин, – тайги и тундры».

И с особой теплотой посмотрел на Ныркова. Наклонившись к Боре Клязьмину, тот щурил узкие глаза, слушая негромкое Борино бормотание.

Меж тем, кидало на зимнике уже прилично, а разводья становились всё шире и шире, и Ластовский увёл машину на целину, ближе к берегу. Снег пошёл гуще, береговые тальники с трудом ухватывались светом фароискателя. Возле чахлах кустиков спрыгнули в снег связисты.

– Может, сё-таки с нами? – крикнул Нырков.

– Да у нас всё есть, спасибо, не помёрзнем, – ответили из снега.

– На кой они тебе сдались, эти воины, – сказал Боря.

– Люди, однаха.

Ветер стих, в слабом лунном свете, бьющим через тонкие края облаков, Авдюшин увидел высокий заснеженный берег протоки и невероятно длинную избу с тремя маленькими жёлтыми окошками, тени от переплётгов, крестами лежавшие на снегу. Контуров остальных строений были тёмными.

– Приехали!

В избе было сильно накурено, дым пластами висел над головами троих, сидевших за столом у запотевшего окна: сам Лёха Набатов, его помощник Лёнька с хитрым длинноносым лицом и рябой Семён Васильевич Семёнов в казённых кальсонах и рубахе, начальник районной милиции. Поздоровался с Нырковым и Авдюшиным только Лёха, осторожно оторвав взгляд от засаленных карт, разложенных на клеёнке среди бутылок, стаканов и закуски.

Боря Клязьмин серой тенью промелькнул мимо стола.

Вдоль стены, уходящей в полумрак избы и завешанной залоснившимися телогрейками, по-тюремному, на корточках, сидело несколько человек, пуская к закопчённому потолку струи папиросного дыма. Никто из них не отреагировал на вошедших.

– Вот те на! – сказал вдруг Семёнов. – Никак охотнички! Вы что, не знали, что тут народу полно? Что здесь мы, и ночевать вам негде! Ты откуда, Нырков, свалился, с луны, что ли? Порядков не знаешь!? Или страх потерял?

– Думал, однаха, людей меньше будет, – Нырков стоял перед столом, как провинившийся школьник, теребя в руках шапку. – Нас и всего-то шестеро, по дороге Чижова подобрали, забичевал што-то, да двоих на косе оставили.

Услышав про Чижова, начальник нахмурился, хотел, видно, что-то сразу сказать, и рот уже открыл, но... передумал и бросил карты на стол.

– И на чём же вы приехали? – тут же с угрозой спросил Семёнов, увидев просунувшегося в избу Ластовского. – На государственной машине?

Авдюшин отметил про себя, что судьба оставшихся в пурге связистов никак не взволновала сурового начальника, а вот то, что Чижов здесь Семёнову совсем не понравилось...

– А чек на оплату предъявить можете? – продолжал рябой.

– Какой чек, Василич? Ты чё...

– Как «чё»? Дело на тебя, Ластовский, завести, как два пальца в рот, понял? Ты знаешь, какие времена нынче? Вот то-то. Кончилась колымская вольница.

Нырков вскинул голову и сказал:

– Ну, што глядите, айда в машину, щас выйду.

Ластовский выскочил первым, Авдюшин за ним.

– Вот попали, как сердце чувствовало, – занял топограф.

– Да уж, гостеприимством здесь что-то не пахнет. А что это за мужики под вешалкой?

– Батраки, не знал, что ли? Помнишь, Вовка Мартын, охотник с Анюйского тракта, кореш чижовский, утонул на Большой Тонé, жена, двое детей. Там в живых один только бич остался, Лёнька этот носатый. Представляешь, полчаса его по реке носило на куртке болоньевой, пока катер не подобрал. Тёмная история.

– Река плохих не забирает... Ещё бы мне Мартынова не помнить!

Авдюшин тогда, в июле, избородил с эхолотом всю Большую Тоню. Мартыновский «Прогресс» так и не нашли. Подняли несколько допотопных моторов, две дюральки, – чьи они и когда потонули, никто и не помнил.

Мартын всплыл на второй день, заметили с вертолёта белый свитер и синие джинсы. Носатый Лёнька рассказывал, что Мартын нырял за детьми и женой три раза, – Колыма его брать не хотела, – на третий не вынырнул, решил с ними остаться...

А жена Мартына, из местных, из походских, так и ушла вместе с лодкой, не смогла руку разжать, – там же дети малые сидели, в рубке...

Это особенно потрясло Авдюшина, и он до кровавых мозолей стёр руки о вёсла, перегибая течение Колымы, так ему нужно было найти утонувший катер и убедиться, что виною гибели всей семьи был неизвестно откуда взявшийся топляк.

Ну, не было, не было и не могло быть топляков на Большой Тонé! Вся тоня в сетях, и неводами пройдена от края и до края!

Хоронили всем посёлком. Родственникам мартыновской жены жалко стало обручальное кольцо на Вовкином пальце, хотели с распухшей руки снять, или палец отрубить...

Колька Чижов не дал, не позволил друга позорить, ему и говорить ничего не пришлось, только глянул в их сторону, как выстрелил. Потом поднялся на холмик растаявшей мерзлоты и голову Мартыну разбинтовал, в глаза ему посмотрел...

«Что ж вы, люди...».

И стояли люди, молчали, смотрели и слушали.

Слёз своих не постеснялся, махнул рукой – «Опускайте!»...

На поминки не пришёл.

Катер все рыбаки-охотники хотели найти, не верили, что просто так у него транец оторвало, подпилит кто-то транец-то...

Авдюшин посмотрел на всезнающего топографа:

– А Боря, что, тоже с ними?

– А то! Бригады-ир. У них, видимо, планёрка сегодня. Сколько чего добыли, кто, куда повезёт.

– А этот, мент который?

– Так он же и есть хозяин в посёлке и всея тундры! Он и тут в правах, видишь, как наехал, чего ему бояться! Но это, знаешь, у кого-нибудь другого спроси... я ещё пожить хочу.

Помолчали.

Вышел Нырков, взял рюкзак из кузова и вернулся в избу.

– Смотри, – сказал Ластовский, – у Лёхи рысь живёт ручная, вон там, за баней. Когда чужие приезжают, он её в клетку сажает. Для чужих она дикая и, знаешь, броситься может.

Топограф засмеялся-заухал и опасно оглянулся в темноту.

...Наконец, собрались все в крохотной набатовской бане, затопили печку, разложили закуску, налили спирта.

Нырков невнятно матюкнулся, что за егерский постой на территории охотника плату стали брать, в данном случае литр спирта.

– Эт ещё по-Божески... – сказал кто-то из темноты, лампу не зажигали, – в окно мертвенным светом свирепо была луна.

– Семён Василич, рябой, так дело поставил, что теперь и охотнику за всё платить надо, – сказал тот же голос, им оказался Колька Чижов, – а с нас – так, вечерок скоротать... С совхоза, с пушного, тоже крови попил, упырина, план по выделке еле-еле тянем, уже непонятно, на кого работаем, на государство или на отдельно взятую ментуру.

– То-то ты ферму себе завёл, – нехорошо прищурившись, вставил Боря Клязьмин. – Две коровы, три козы, гусей целое стадо. Ты с чего завёлся, тебе с левака мало перепадает или просто... жена не даёт?

Все замерли. В тишине шипела печка, подсвечивая багровым напрягшиеся лица.

– Эй, охотнички, хоп, хоп! – тонко крикнул Нырков.

А ствол карабина уже смотрел на Борю, из темноты донеслось еле слышно: клац-клац-клац.

– Я, Боря, кроме пушнины ещё и оружейкой команду, у меня осечек не бывает. – Чижов выговаривал слова, покачивая головой, словно проверял угол прицела. – И с Мартыном я ещё не всё понял... Ваших поганых рук дело?

– Мартын! – деланно рассмеялся Клязьмин. – Что тебе Мартын! Полез, куда не надо, вот и...

– А детей зачем?

– Я за чужих детей не в ответе, – показывая зубы, ответил Клязьмин. – А своих у меня нет. И с чего ты решил, что это не случайность, не топляк, а?

– Да хватит вам, мужики, – Ластовский начал размешивать чай, громко стуча ножом по кружке. – Давайте выпьем, на охоту ж приехали!

Колька Чижов демонстративно задвинул карабин за спину и сказал:

– У мёртвого Мартына в глазах прочитал.

Авдюшин уже держал бутылку со спиртом в руке, плеснул чуть-чуть Чижову, его и литром с ног не свалишь, а Клязьмину налил полкружки, – чтобы забродившая кровь пополам со спиртом выбила дурь и злость из бригадировой головы. А то половина охотничков до утра не доживёт.

– Ладно, будем!

...А утром...

Утром словно не было этой тяжкой бесконечной ночи.

Циклон ушёл дальше, на север, сгруппировав армады снеговых туч над Холерчинской тундрой. Там, почти в ста километрах, возвышалась исполинская фиолетово-чёрная башня, соединяющая притихшую в ужасе землю с торжествующими небесами. Ослепительное утреннее солнце подсвечивало клубящиеся лохмотья туч, закручиваемых в гигантскую воронку.

Тысячи птичьих стай, больших и маленьких, разорванных и перемешанных ночным ветром, кружили, металась с безысходным криком вдоль неприступной стены, закрывшей места гнездовий. Горячий весенний свет палил их уставшие головы и крылья, мелькающие белым пунктиром на фоне бушующей черноты.

Зелёный вездеход стоял у траншей полного профиля, выкопанных в снегу армейцами-связистами. Лица их были черны, шапки с кокардами сдвинуты на затылок, – светились белые, не загоревшие лбы.

Они были пьяны и улыбались.

Один держал за шею тощую измождённую тушку журавля со слипшимися перьями и старательно предъявлял её всем, кто, перевесившись через борт, зубоскалил по поводу единственного трофея.

Река искрилась под солнцем последним зимним снегом, накрывшим и зимник, и тальниковые берега, и далёкие чукотские горы. Авдюшин с Нырковым, стоя в кузове, смотрели на север, Коля Чижов красиво ехал на снегоходе, лицо его было по-индейски невозмутимым.

– Авдей, кружку давай! За первую добычу пить будем! – крикнул из кабины Ластовский.

Но Авдюшину не хотелось ни пить, ни расчехлять ружьё, и, тем более, стрелять: такая навалилась на него весенняя истома, так мощно и ровно грело спину и плечи, и он, изо всех сил прищурившись, вглядывался, впитывал, втягивал глазами этот всем доступный, открывшийся для всех пейзаж, не понимая, что за слёзы текут из-под сомкнутых век.

Вверху, прямо над его головой, проскрипели три большие усталые птицы: лебедь, гусь и журавль. Они построились клином и тяжело шли в сторону Холёрчи, тоскливо крича каждый на своём языке...

Спустя несколько лет Авдюшин с напарником сплавлялись геологическим маршрутом на моторке вниз по реке к посёлку, до которого оставалось ещё километров триста, и остановились переночевать у заросшего травой зимовья. Утром, путаясь в космах тумана, они собрали палатку, закидали всё в лодку и сели, прикурив на дорожку.

Никто Авдюшина в посёлке не ждал, – жена два года, как уехала на материк. А его звезда по-прежнему отражалась в колымских плёсах и стремнинах...

По земляным ступеням с крутого берега спустилась маленькая эвенская женщина, одетая в детское пальтишко, застёгнутое на все пуговицы и перетянутое вместо пояса верёвочкой. Шерстяной платок был обмотан вокруг головы. Она вытащила из кустов брезентовую лодку-ветку и, увидев людей, всплеснула руками.

– Драствуй, куда плывёте, нюча? Посёлок? Далёко, однако! Домов много! Людей много!

Она стояла, прямая и тоненькая, с детским сморщенным личиком, сжимая в руках мешок для улова. Туман киселём колыхался у её ног. Авдюшин с трудом разобрал, что она немолода.

– А Сеньку, Сеню Семёнова не встречали там?

Авдюшин сделал вид, что пытается вспомнить.

– Племянник мой, однако. Говорят, в милиции работает.

Тут его осенило: это ж Семён Васильевич Семёнов, рябой начальник милиции!

– Ох-ох, – запричитала она, – я ведь тётка ему, и его мальчиком помню! Нячила Сенюто. – И тут же с печалью добавила: – Забыл он нас... забыл... и жив ли? Уже лет тридцать не приезжает, однако... Как давно это было... и было ли...

«Да, – подумал Авдюшин, – был ли когда-нибудь Семён Васильевич маленьким мальчиком, помнит ли добрых и мудрых бабушек и тётушек, воспитавших его? Не помнит... Тогда зачем же оно было, то доброе детство...».

И опять, в который раз, вспомнил тот лунно-холодный, негреющий душу уют охотников в том далёком далеке, когда собрались они все в неслучайной охотничьей компании со своими заботами и нерешёнными делами.

Вспомнил и дымчатую стремительную рысь, качающуюся в клетке из угла в угол, словно маятник, отсчитывающий отпущенное им время.

Никто не предвидел своей судьбы, как и те растерявшиеся в непогоде птицы.

Осенью того года Нырклов провалился на озере под лёд вместе со снегоходом, – тормознул, чтоб топор у майны подобрать, добрые люди с берега крикнули, лень им было самим идти.

«Было ли? Было, конечно, было! Да, никто судьбы не предвидел, – думал Авдюшин, – но ведь она уже была определена, где-то и кем-то. Или мы сами её определили?.. Тогда, в набатовской бане...».

Следующей зимой умер Колька Чижов. Ни с того, ни с сего запил на неделю, пил коньяк у себя на ферме, среди коз и коров. Авдюшин тогда подумал: тошно ему стало, Кольке Чижову, среди людей. На охапке сена нашла его жена, оторвавшись от шитья ондатровых шапок. Несколько часов Колька ещё полежал под капельницей, – давление забрасывало кровь наверх, в бутылочку.

И жена, надеясь, говорила сквозь слёзы:

– Смотрите, он улыбается, он будет жить!

А через год, весной, вытаял из снега Боря Клязьмин с пулевым отверстием между глаз, под обрывом, на котором стоял магазин «Малиновая рыбка». Осечки, и правда, не случилось.

Авдюшин знал, почему улыбается перед смертью Колька Чижов, – Мартын ждёт его и уже налил в кружки спирт, разбавив его колымской водицей...

2001—2014

А ПОМНИШЬ, СЕРЁГА?

Сергею Давыдову

КАК УМИРАЛ АСПИРИН

Весна на Колыме никогда не бывает ранней. Ждут её, ждут, а приходит она, когда захочет. Ещё с осени лёд на Пантелеихе гладкий, можно сквозь лёд смотреть, но не увидишь, что там, в глубине. Синь и глубина.

А той весной Аспирин, отслужив свою собачью работу и биографию, лежал на проталинах. Первострелы голубые, потом синие пёрли из отмякшего грунта. Лапы у него болели, выкручивало суставы натруженные. Скулил. А на солнце весеннем и полегче. Сколько ж нарт перетаскал, кто ему упряжь надевал, не помнилось. Ну, может, был человек один, так давно его уже не видно. А суставы... да не суставы, лапы болят, ломит их как у живого. Аспирин на Серёгу поглядел, – пойду, слушай, на лёд схожу, весна же. Хрен с ним, что лапы болят, лёд же! Хромает Аспир, а сам думает – вот сейчас весеннею весною подойду к майнам, где чебака ловят. Полежу, посмотрю, как они, нынешние собачата, своим служат.

А Серёга сверху смотрел, с бугра, как Аспирин умирать будет. Время пришло, Аспир и сам это понимал. Откуда знал. Да не знал, чувствовал.

Колыма – простор широкий, что их, лихих дураков, занесло туда, на Пантелеиху. Два раза крючок дёрнули, на забаву, как там дробь выскочит.

Аспиру хорошо стало, не болят лапы, в щенка молодого превратился.

По весне запах крови, как человеку с лимоном – морду корёжит.

Истома весенняя – возвращаться нужно, пьяному.

Серёга только что и успел в глаза Аспирина посмотреть.

Тут Аспир и заплакал.

Што им дома-то не сиделось?

КОЛЫМСКИЙ ЗАКОН

*Всё, что стоит на столе,
принадлежит сидящим за столом.*

*Можно налить, сколько хочешь,
и выпить в одиночку.*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

у Колымского закона есть производные.

Поехали мы с тобой к Сане Скотникову, он тогда живой был, мудрый, свёклу и капусту на колымских кочках выращивал. Две жены у него было – Скотникова Татьяна, красавица юкагирка, и казачка Людмила. По весне на кривом «буране» приехали в гости, печка тёплая, а Сани нет в зимней избе.

Он для себя своё примитивно-охотничье обустроил, а для козы, гусей возил кирпич в этакую даль, печку для них поставил. Дух в избе был животный, чистый.

Приехали, а Сани нет, в Анюиск уехал.

Сковородка полна ножек ондатровых. Сладкие они, вкусные. Ты, Серёжа, после «бурана» и мороза устал, осоловел, спирт мы с тобой по дороге выпили.

А у Сашки, простой души, всё на виду. Вьетнамская водка тогда на Колыме ходила, по сухому закону. Эх, взяли из ящика полупустого бутылочку – колымский закон.

А как он даётся?
Переспали, ондатры наелись... Утром, как вертолёт гудит.
Ох, Колыма ты моя, Колыма, не даёт пропасть. Едет Скотников с друзьями и гостями, а тут мы, прихлебатели пустые...
Обнялись, поцеловались. Саня из Анюйска ещё привёз.
– Серый, как про бутылку сказать?
– А не говори, он не заметит.
Через полгода я Сашкиной Людмиле дарю ограненный сердолик, камень счастья. Она – это ж дорого. Дорого, когда от души с одной и с другой стороны.
Я про Колымский закон думаю, а Саня молчит.
– Люда, вы ж уезжаете, возьми...
– Нет – говорит, – лучше б вон те серёжки.
А серёжки из рекламного набора, жалко отдавать.
Посмотрел на Скотникова, а он так влюблённо на Люсю свою смотрит, и что в ней такого нашёл, а серёжки те и правда к лицу ей.
Мусолил, мусолил, так и не отдал серёжки. Пожалел.
Разошлись они с Сашей, посконно русским, саратовским мужиком. Она, казачка, с тем камнем счастья и уехала. Может, выбросила, а Саня потом помер в своей зимней избе.
Татьяна Скотникова мне малахай юкагирский подарила, когда я с Колымы уезжал. Его потом дура-баба чужая на кусочки порезала.
Вот так, Серёга...

ЛЮБОМИР

Откуда такое имя на Колыме. Так его все и звали – Люба. Любо, братцы, любо...
Один глаз у Любы был стеклянный. Стрелял Люба целко. Сохатого, так сохатого. Подошёл обдирать, а лось рогами дёрнул, и Любомиру в глаз. Потому и стекляшка.
Жена Любина спилась, и по морозу сгнула, замёрзла.
А Люба любил её, избу такую построил, что любо дорого глядеть. На втором этаже – теплица. Колымский мороз отступает. Там огурцы можно выращивать, опылять только нужно пальцами, мухи нет.
Как жена замёрзла, Люба пить начал, и сам бы замёрз, когда изба сторела. Кореша за шкурками приехали, и нашли его полутрупом.
Люба однолюб был. Другую избу построил. Но без теплицы, не нужна она уже была. Приговаривал – якут траву не ест. Блин, неуёмный какой-то.
И эта сторела.
Кореша его в посёлок свезли, а он – везите обратно.
Когда в 1991 году мы с тобой, Серёга, приехали к Любе на тоню, у него «казанка» с булями две тонны ряпушки приняла, благо на берегу стояла, но прокисла свежанина, потому что тёплая осень была, а совхозный катер не успевал улов собирать. Хотя, что ж, на приваду ж тоже надо, тогда Люба ещё живой был, промыслял. И глаз стеклянный ему не мешал. Кстати, глаз был правый, прицельный.
А Любомир и с левого валил, как хотел.
Что мужику баба? Что, он сам себе и ей еды не припасёт, не наготовит? А вот замёрз, пошёл за ней тихой смертью.

ШКВАЛ

Вот поехали мы как-то с женой в июле в деревню Пантелеиха. Жара была на Колыме, как в Сочи. Я письмо от отца получил, думаю, по дороге прочитаю.

Лодка «сарепта» ничего не боится. Борт озёрного класса 65 сантиметров, винт пластмассовый, с регулируемым шагом. Жена в сарафанчике с бретельками, на восьмом месяце. По Пантелеихе вверх всего-то двадцать пять камэ. Там искупались, сетку проверили, «пяти-минутку» муксунычью заделали, так хотелось. А в жару синие тучи появились. Затихло всё.

Отец писал, что всё хорошо у них, огород сажают и поливают. Ты-то, сын, как там на Колыме.

Едем обратно, я в майке.

Морок кругом, кто на севере бывал, тот знает – ненастье будет.

Пантелеиха перед выходом в Колыму делает резкий поворот влево, перед сопкой.

И тут – с чего бы – у Вовы Калиничева шпонки срезает на «вихре».

Кричит:

– У тебя бронзовые есть, чтобы гвоздь не рубить?

– Да, – кричу, – есть.

Шпонки отдал, а сам на середину Пантелеихи, чтоб мухи не заели, жена ж в бретельках.

Кружу.

Тишина-то тревожная. У Любашки глаза... Похолодало. Майку с себя снял и на неё.

А впереди сопка, река поворачивает влево к Колыме. Над сопкой пыль уже завевается.

И ветер в харю, река вздулась, пришлось рядом с берегом идти в двух метрах.

Кричу:

– Любашка, ложись поперёк лодки, не вдоль!

Восьмой месяц же.

Хотя какая, к чёрту, разница, лодка уже как лошадь скачет. А у берега... сети, мать их!

Пошёл на середину, прямо на стоячие валы, в глазах – темень. Не растрясти бы младенца.

Ветер навстречу страшный, холодный, обвалом. Повернули к Колыме, Вова сзади...

Снег пошёл.

У Вовы в лодке бабушка-тёща сидела, так она уже в пальто, а нам и надеть нечего.

Пристали к тебе, Серёга. Бабушка «скорую» вызвала, «уазик», она там работала. Всё на берегу бросили...

Вот так, Александра, ты почти и родилась.

Колыма за те двадцать минут, пока шпонки меняли, вскипела.

И четырёх человек в себя приняла. Не подавилась.

Мы никогда не знаем, Сашулька, почему мы живём.

А в ноябре того 1993 года на праздники случилась авария в котельной, и батареи стали остывать очень быстро, мороз уже под сорок. Только свет был в лампочках.

Тебе, Сашуля, и двух месяцев не было. Любашка тебя к себе прижала, я вас двумя одеялами накрыл. Сам свитер надел водолазный, непробиваемый. В окно смотрю, а лампочка горит жёлтой спиралькой, потому что все обогреватели включили. Достая теплоизоляцию газопроводную, это дядя Лёша мне подарил. Ещё хуже, спираль вообще тухнет.

Тут ты звонишь, Серёга Давыдов с Пантелеихи, между нами четыре километра. Трамваев и электричек на Колыме не бывает.

Не, говорю, подождём. Ждали часов двенадцать. Я, что ли, не мужик, не могу семью обогреть?

Ты же, Серёга, не выдержал, авто к подъезду. Коляску в багажник, Сашульку в одеяло, носик красненький. А у Серёги с Аней печка кирпичная, отдали они нам свою широченную кровать... А тепло такое, мягкое... Девочку колымскую поближе к красным кирпичам.

Как же ты, Сашулька, этого не помнишь, улусная девка?

А ведь Колыма отнять тебя у нас с Любашкой хотела...

КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ

Перевод английской речи – вольный

Ты, Серёга, не был ещё в те времена профессором, знатоком парниковых газов, только подбирался к теме. Не было ещё твоих публикаций в «Science». Ходил в таких штанах с начёсом, философствовал, жил вообще в бочке, как Диоген.

Границы наши северные несуществующие тогда открылись. Иностранцы учёные, японцы и американцы, сразу к нам хлынули, те, кто хотел понять наш Север как источник парниковых газов для всей планеты, и узнать, что мы за люди, что нас там, на Северах, припекает.

Тогда всё человечество боялось озоновых дыр, хотели даже спреи на основе фреона запретить.

Кто-то и приборы стал привозить, оборудование для мониторинга, а кто-то с видеокамерой, чтоб запечатлеть наши серые героические будни... А мы все велись на иностранщину. Серёга Тяжов отдал одному из голливудских кухлянку новую просто так, а тот – нет, ты мне дай потёртую, с пролысынами от ремня ружейного и колымской моли... Ну, на, из старого сарая.

– Good! – и видик за этакое старье.

Уклад наш колымский, туземный, и Закон не понимали. А мы думали – во, жизнь какая наступила! Нам бы, главное, по видуку отхватить. Тоже кое-что забывать стали...

Эду было за пятьдесят, привёз с собой кучу блестящих ящиков, Голливуд, по-взрослому, «без трусов». Сто седых косичек, чёрная кожа и умные глаза.

Ты мне, Серёга, звонишь, приезжай на Пантелеиху, как с этим чёрным говорить, не понимаю ничего. А Эд – негр, и косички у него седые, и в Штатах уважаемый человек.

Приехал, конечно. Ты чай наливаешь колымский, в двух банках варенье, клоповник и лимонник. От лимонника сердце сразу к горлу, выпрыгивает. А клоповник успокаивает, истомляет, не даёт бежать, куда глаза смотрят.

Живём полчаса, как на качелях, – то вверх, то вниз. Кружка чая то с клоповником, то с лимонником.

Эд с косичками говорит, я из Лос-Анжелеса, из города ангелов. С Голливуда. Прилетел снимать дикую колымскую природу.

И рассказывает вдруг историю, а она у него, у Эдика, как американская мечта. Красивая.

– Заработал денег, – Эд говорит.

Мы с тобой, Серый, смотрим на него и думаем, а у нас-то и ума палата, и без мяса не сидим, а денег заработать не можем.

И решил вот Эдик на эти деньги дом себе купить. Поехал в пригород города ангелов, там дешевле...

– А что поехал-то? – ты у меня спрашиваешь, чтоб я ему перевёл.

– А-а, мы, американцы, очень ценим недвижимость, если она у нас есть. А мне, – Эд говорит, – захотелось как раз такого, как у тебя, Серж, – в бочке пожить, философию жизненную познать. А то у нас одни деньги на уме.

Ладно. Эдик до того на клоповник налегал, а тут лимонника хватанул, и понеслось.

– Красное дерево, секвойя, у вас на Колыме не растёт. А его даже древесный жучок не ест. В 19 веке пол-америки бы жучки съели, если б не секвойя. Нахожу место, где все дома из крас-

ного дерева, старые, по сто пятьдесят лет. Хочу купить, а соседи у виска крутят, – охренел, старье брать, всё белой краской покрашено, – это у нас, американцев, основное – внешний вид. Смотрел-смотрел, и потихоньку всё лишнее убрал и увидел, каким построили его хозяева, и купил. Мы с женой краску ободрали, а под ней и красное дерево, и изразцы на печке (он сказал, на камине), и витражи. И у хозяина всей этой махалы, квартала, стали американцы покупать другие дома и так же очищать от лишнего.

– И вам сразу подняли плату за воду, электричество, газ, – это я уже порадовался за капиталистов.

Эд на меня вытаращился:

– Почему подняли, наоборот, тэксиз нам снизили. За то, что мы дали хозяину дополнительный доход, он с нами поделился.

Тут мы с тобой, Серёга, на него вытаращились: у нас в России такого не бывает.

А я сижу и думаю, чем же Эду отомстить. И придумал, примеры же на каждом шагу:

– Послушай, Эд, как у нас всё устроено. Смотри, говорю всего одну фразу, и ты всё поймёшь. На реке встречаются две баржи, гружённые песком, одна идёт вверх по течению, другая вниз.

Эд опять вытаращился, не понимает. Я повторил, но он не засмеялся. Наверно, не поверил.

Вот, как мы с тобой американцев уели, а?

ДВА ПАТРОНА

Честные мы были геологи, и упёртые. Уже геологии-то самой не было, а мы всё сопли морозили, не хотели Севера покидать, за горизонт рвались. Кто в грузчиках, кто в бичах, азарт и фарт водкой заливали.

Я к тебе, Серёга, пришёл, десять отгулов в «Колымторге» заработал.

– Дай «буран» до Гальгаваама доехать, всего-то пятьсот вёрст.

Ты говоришь:

– Охренел, что ли, в одиночку ехать, да на казённом аппарате? А если что?

– Поехали тогда вместе, меня Москва попросила газовую съёмку сейчас по апрелю сделать.

...Через день укатил я со Стасом, прикомандированным москвичём. Здоровенный мужик был, мосластый, гирями качался, у тебя все дрова, листовягу, за сутки переколол, секса гигант.

Но на Северах первый раз. А ты ехать не захотел. Вот и пришлось мне дрожь в коленках унять, Стаса на задник нарты усадить и двинуть в белое безмолвие.

Любашака на меня смотрела... блин, как в последний раз. Но молчала, знала, что говорить бесполезно, жена ж геолога.

А мне тридцать семь – возраст самоубийц. Стасу пятьдесят, но тоже, смотрю, безбашенный. Куда с добром?

Через полтора суток мы уже на берегу Колымского залива были, прошли Чайячьей протокой. Полсотни проб снега взяли. Днём тепло, солнечно, «буран» греется. Я ему, бедняге, снега на цилиндры накидаю, он пытит, шипит, плюётся. А сам в сумерках еле сапоги заледенелые от носков отодрал, валенки надел. В унтах на Колыме только фраера ездят.

Холостым ходом до устья Большой Чукочьей часа три, через залив. Едем, на застругах прыгаем. Стас сзади в нарте, в пыли снежной, как грузчик в муке, за растяжки грузовые держится, терпит, зубы сжал, молчит, как олень. И пар изо рта не пускает.

Посредине залива антенну раскинул и в рацию:

– Здорово, Гвоздь! Что у вас на ужин?

Там на льду топографы стояли, промерщики, на будущую навигацию работали, там меляки везде, осушки.

Коля Гвоздѣв пробубнил из тепла:

– Я тебе, шалый, ведро с солярой зажгу. На него от Чукочьей и езжай. Там всего двенадцать километров. Смотри, мимо не проскочи.

А в заливе темно, хоть и звѣзды светят и сияние зелёное.

Стас в куржаке, на полусогнутых:

– Давай ружьѣ соберѣм.

– Зачем?

– Знаешь, вдруг я по дороге выпаду... А тут, сам же говорил, медведи белые рождаются, в оврагах...

А я думаю: если с нарты свалится, ружьѣ точно сломает, тогда мы даже застрелиться не сможем.

– Ружьѣ, – говорю, – Стас, в чехле на шею повесь. Вот тебе два патрона, пулю в нижний ствол, а картечь в верхний. Если с первого выстрела не завалишь, картечью застрелишься.

Постоял мужик, подумал, патроны в карман положил, ружьѣ на шею, и сел на нарту.

Послушный, мышцѣй не играл. Понял, во что попал.

С устья Большой Чукочьей хорошо огонь виден, и рядом, как будто, а в залив не могу уйти, торосы вдоль припайной трещины с двухэтажный дом. Свет от фары по ним скользит, и про медведей не думается, тут стена непреодолимая, это хуже.

А шестнадцать часов за «бураном»? Рукавица к «газульке» примѣрзла, я уже ладонью на неё давлю из последних сил.

Что, вот, углеводородов, нефти и газа у нас в СССР не хватает, чтоб так мучиться? Не могу же ледяные эти горы перелететь, и «буран» казѣнный, Серѣга, погубить. Хороший ослик-то, тяговитый, и ест мало. Такого редко встретишь.

Прыгнул я, полуживой уже, с заструга, он твѣрдый, не хуже льда, лыжа хлопнула, – испугался, не сломалась бы, – и ослик наш умолк.

– Ночуем, Стас.

– Где? – москвич этот долбанный спрашивает.

Чай варить сил уже нет, не Стас же это будет делать, ещѣ сгорит, это ж не дрова колоть. Кое-как палатку на ящик из-под холодильника набросил, в нём бензин в канистрах, пробы в стеклянных баночках от детского питания, сало, примус, бутылка спирта, – удачно заглохли, субширотно, – ветерок с севера тянул низовой.

Ты, Серѣга, помог нам тогда, к «бурану» дѣхи дал и штаны из меха зимнего оленя, Татьяна Скотникова их шила. Только маленькие они, блин, юкагиры. Мы со Стасом богатыри против них, да ещѣ, если поверх ватных брюк и телогрейки натягивать, совсем коротко получается.

Всѣ нам, северянам, не так: то рубашка короткая, то хер длинный.

Очнулся я, Серѣга, – где? Не могу ничего понять, усы к дохе примѣрзли, волосинки оленьи бьются травинками заиндевелыми под неслабым ветерком. Ощущаю морозец, по предположенью, под тридцатник.

Минут десять соображал, пока звук неуместный на льду не услышал. Бляха-муха, это Стас храпит! А эхо в торосах гуляет, заблудилось.

Встаю, качаюсь. Стас с южной стороны лежал, его сразу холодом обдало, он глаза открыл, почмокал, как ребёнок, и захрапел опять, ладошки под щѣчку.

Меня потом прошибло: поднимать его надо, он уже туда пошёл, к юкагирским праотцам верхним. Пинка ему в зад. А «буран» -то заведѣтся на тридцатнике с ветерком? Или паялкой греть придѣтся? А лыжа как там, пополам?

А соляра гвоздѣвская горит, сияет маяк, двенадцать километров до него. Гвоздь не дурак, верхонок старых в ведро накидал, они больше суток гореть будут. Видно, ветром огонь расплѣскивает.

И опять та же мысль – чего дома-то не сиделось?

Стас уже стоит в позе замерзающего, руки к груди, себя, любимого, обнимает. А я вспомнил: он же жениться собирался на двадцатилетней. Как вернусь, говорит, с Колымы, так и женюсь. Не зря он на дровах тренировался. Ну-ну. Вернись попробуй. Сначала вон палатку собери, уложи, брезент каляный затяни, и на правильный узел завяжи, чтобы потом ногти не ломать, развязывая. Я тебе не дам фал капроновый резать.

Говорю:

– Бегай вокруг нарты.

Побежал, конечности, как у куклы, болтаются вокруг тела. Гляди, щас отвалятся.

А сам к ослику нашему. Ну, подсос, рывок?

Да, Серѣга, не зря мы с тобой столько водки вместе выпили. Колымский закон нас не осудил.

Биноклем прошѣлся по горизонту – балок с чѣрным дымом! Рядом – трактор! Двух километров, блин, не доехали! А от того балка Гвоздь трактором пѣтик через торосы проломил и вешки даже поставил. Это ж не кто-нибудь, а топограф Николай Гвоздѣв, брат по разуму.

Любашка, жди мужа-геолога, он вернѣтся, обещаю. У нас же дети...

После гвоздѣвского борща и жареной оленины – в сон. Мы ж пока эти двенадцать километров проехали, я три раза чуть с «бурана» не упал. А так туда хотелось, в сладкую смерть.

Так оно бы и состоялось, промедли мы чуть-чуть. Апрель – ветренный мужичок, Пургюю свою наслал, она двое суток нас охаживала, лезла, дрянь, во все щели, песни пела – заслушаешься, и то плечиком приложится, то коленкой, а то и грудкой своей колкой холодненькой навалится – не вздохнёшь. Ловко бы она нас прихватила у Большой Чукочьей, залюбила бы насмерть.

Вверх по Чукочьей в десяти километрах изба, конечно, была, да попробуй найди её, занесѣнную...

Пока дуло да свистело, я, Серѣга, «буранчик» твой посмотрел, пружинки-мружинки, сломанные об колымский лёд, поменял, звѣздочки те же беззубые заменил, кулачки попривал, а то щѣлкали они как-то не разом, один за другим. Непорядок это в такой ситуации.

Стасу всё показал:

– Вдруг, Стас, я с «бурана» упаду, ноги-руки переломая, что делать будешь сам-один?

А до Гальгаваама ещё километров триста пятьдесят, и гаку сорок. Страна же нефти и газу хочет, а мы тут, с москвичами...

Хотя она, страна, в тот момент совсем другого хотела – свободы, демократии. А у нас, у колымчан, всего этого было, хоть завались. Колымский закон же действовал, и мы, что хотели, то и делали.

...Следующее пристанище мы со Стасом нашли легко, хотя, кроме горного компаса, чтоб направление по нулям держать, ни карты, ни аэрофото не было, – бесполезно это, только на удаче. Ехали вдоль берега залива, он кокорами чѣтко отмечен, они, чѣрные коряги, из снега и льда торчат полосой метров в пятьсот, пробы брали, нормально работали.

Стас опять стал медведей бояться. Я одного увидел, так тот оленем оказался, и на лёд перед «бураном» выбежал, поворачивать стал, поскользнулся, бедолага, грохнулся. Стас сразу осмелел, орѣт сзади: бей его! Среди москвичей тоже, гляди, азартные попадают.

А я смотрю на телка безрогого, одной рукой за руль, подмышкой ружьѣ, и стрелять не могу, любуюсь, и жалко мне его, как он оконфузился. А если б волки были? Не пожалели бы.

Стас телесами своими мохнатыми навалился: что, гад, не стрелял!

Беда с ними, с прикомандированными.

Пришлось объяснить туристу московскому, что «бурашка» ещё восемьдесят килограммов груза не потянет, а если обдирать – час, минимум, потеряем. Не мог же я ему прямо сказать, что живое намного красивее, чем мёртвое. Мы же не голодные, и спирт у нас есть, и надо пробы брать, чтоб страна дальше жила, и балбёчек ещё не нашли.

Где он, а?

Вот когда печку в нём затопили, супцу на сале заварили, спирту по соточке, до Стаса дошло. Вынул из кармана два патрона, что я ему посреди залива дал, положил на изрезанный ножами стол. А я уж забыл про них, про патроны эти...

Глянули мы друг другу в глаза, и смех пробрал, хохочем, нет сил остановиться. Ну, видать, каждый по своему поводу.

– Прости меня, – Стас говорит, – я всё понял. Возвращаю патроны.

...В общем, Гальгаваам нас дождался, оставалось-то до него всего сто пятьдесят вёрст. Работу мы со Стасом завершили, пробы в детских баночках нормально доехали, не побились, Стас их потом с собой в Москву увёз, и аномалии газовые были обнаружены.

Жалко, Стас так и не женился, вернулся с Колымы, а невеста его к московскому парню ушла. Быстрые они тоже, москвичи, но у них другие понятия о геройстве.

Мы со Стасом обратные эти пятьсот километров легко сделали, катились, как с горки. Я только тогда понял, что если на север идёшь, то как в гору, тяжело идти, с напрягом. Что-то в голове там напрягается, то ли от страха, то ли от полей электрических и магнитных, хрен его знает.

Ты, Серёга, когда меня увидел, и «буран» целёхонький, как бы и муха не сидела, говоришь, этак посмеиваясь:

– А я уж думал, не увижу тебя больше, Серёга.

Бляха-муха, ну, ты, Серый, даёшь. Дать бы тебе в глаз.

Но не смог на тебя, Серёга, обидеться, нет... Ты тоже хорошо на язык острый, да и рад был, ясный пень, что я вернулся, пошутить решил, понятно. «Буран» твой прошёл больше тысячи километров по тем местам, что и космонавтам не снились, и, главное, работу сделал, ослик наш, не чихнул, не пёрднул.

И Любашка дождалась, любовь же у нас была, и дети общие. Не мог я не вернуться.

И мы с тобой на сутки загудели... Любашка потом неделю со мной не разговаривала.

Скажи, было же и у нас с тобой, о чём поговорить?

ПОНЮХ ТАБАКУ

Пришла как-то на Колыму старуха с сумой и говорит нам, безработным геологам:

– С голоду вы, конечно, здесь не помрёте, олень кругом бегаёт, рыба плещется, грибы-ягоды, – вам бы ещё голову чем-нибудь занять, совсем бы вам цены не было.

А голова – совсем дурная стала, бежать хочется, не даёт ногам покоя, а куда бежать – не знаем. Конечно, куда глаза глядят.

И мы с тобой, Серёга, начали ходить на помойку. Это за Зелёным Мысом, мимо страшного озера Восьмёрка, где ещё в двадцатых полковник Пепеляев стрелял латышско-эстонских комиссаров, а в тридцатых уже комиссарские потомки, став конвоирами, мстили за отцов, стреляли врагов народа на плоту, чтоб у раненых надежды не было. Место неприятное, гнилое, туда ещё и фекалии поселковые сливают, зато там «вечная» мерзлота тает, вода её подгрызает и подъедает, потому и мерзлота называется «едомой». А в едоме полно плейстоценовой фауны, останков животных, травоядных и плотоядных, что жили в совсем недалёкое геологическое время.

Самое простое и дешёвое, точнее, никому не нужное, – это черепа, челюсти, зубы и другие кости гиппарионов, ископаемых лошадей. Потом идут лобные кости, иногда и с роговыми

чехлами, быков лонгикорнисов, они, хоть и выглядят эффектно, тоже дешёвка, потому что их было очень много, как и лошадей. Затем мамонтовая фауна, самое дорогое из более-менее доступного – бивни мамонтов. В длину они могут достигать и трёх, и четырёх метров.

И в те времена их только-только начали принимать в обмен на видики и телевизоры.

У нас в посёлке за один такой бивень убили человека. Подвесили за шею. Как будто он от несчастной любви удавился. Никакой фантазии...

А дальше в ряду плейстоценовых ценностей идут всякие там раритеты, пещерные ужасы с гигантскими клыками: медведи, тигры и львы, леопарды даже. Особенно ценится, например, львиная пятка, – попробуй-ка найди её в чёрной вонючей жиже, так их и найдено одна или две штуки во всём мире... И то, видимо, случайно.

А те, кто Башмачкина повесил, потом у экспедиции Академии наук тушу шерстистого носорога украли, почти свежую. Так её бы и не нашли, если б они её не подбросили на Билибинском тракте, но уже без головы. У носорога второй рог, волосяной, самый ценный. Намного дороже, чем человеческая жизнь...

Ходили-ходили мы с тобой по помойке, нашли пару обломанных бивняков и, на чистом месте, череп какого-то горного козла. Думаем, мало ли, может, колымчане уже своих домашних питомцев есть начали, но взяли череп с собой и показали его Андрюше, главному специалисту по плейстоценовой фауне Крайнего Северо-Востока Евразии.

Андрюша в этот череп вцепился, из рук не выпускает, и говорит:

– Я его у вас забираю, и вам его обратно не отдам!

– Как это не отдашь?

– А вот так! Это череп предка снежного барана, достаточно редкий экземпляр.

– Если редкий, давай нам за него сто долларов, и мы в расчёте.

– Ладно... потом...

Анна Ивановна, твоя жена, над нами посмеялась:

– Эх вы, костоловы. Ничего вы от него не получите.

Ну, раз не получилось с костями, я тогда нанялся «шерпом» -охотником к тому же Андрюше в экспедицию, добывать для них мясо и сопровождать пожилых профессоров в маршрутах на междуречье Колымы и Индигирки, в районе реки Хомус-Юрях.

Межень была большая, Хомус-Юрях сильно обмелел, и мамонтовые бивни, плохой, правда, сохранности валялись на косах, как причудливо изогнутые брёвна. Понятно, Андрюша такие не брал, занимался только коллекционными.

Забрать с собой в вертолёт я ничего не мог (мы потом, когда улетали, от земли-то еле оторвались), но всё время шарил по дну реки. Это уже мамонтовая лихорадка была.

В завалах бивни определял, проводя по стволам ногой в болотном сапоге, и однажды нашёл тонкий, изящный «женский» бивень. Андрюша опять вцепился в него, как в тот козлиный череп.

– Ты нашёл пару к прошлогоднему бивню! Такое везение бывает очень редко! Это была молодая слониха, – зачем-то добавил он.

Я и так знал, что это была молодая слониха.

За ужином он объявил мне благодарность и подарил три щепотки старого трубочного табаку, уже превратившегося в пыль. К тому же, пах он одеколоном.

На следующий год мы с тобой решили сами попытать счастья на Хомус-Юряхе. Так зарядили такие дожди, что все свои богатства Поющая Река упрятала под четырёхметровой толщей стремительно несущейся воды.

Но были, конечно, и другие приключения. Смутно помнится, что мы тащили с тобой километров пять какой-то невероятно тяжёлый бивняк, причём по сырой тундре. Только спина это хорошо помнит.

Куда он делся, я не помню. А ты?

Зато помню, что ты забыл взять из дома ложку и ел вначале крышкой от жестянки, а потом руками. Благо, мяса у нас было вдоволь.

Нам повезло, что на фактории «Аграфена» оказался человек, за которым в конце концов прилетел вертолёт. Раненый медведь там ещё бродил, страху нагонял.

От той поездки остался огромный череп ископаемого быка, я нашёл его в озере, он завис на тонких тальниковых веточках и мог сорваться в глубину в любой момент.

Теперь он стоит на каминной полке в твоём с Аней доме.

А Андрюшу мы больше не видели, и костей больше не искали.

Кто его так в детстве обидел, что он начал друзей и товарищей надежды лишать?

А с другой стороны, зачем они вообще нужны, кости эти, а, Серёг?

ОГНИВО

И што нас дёрнуло в декабре к Сашке поехать. Спирту опять взяли. Мороз был страшный, рыба в озерах не ходила. Мы её «бураном» погоняем, потом сети смотрим. Руки в майну сунешь, тепло. Пятьдесят камэ, Скотникова опять дома нет, на ловушках, значит. Едем обратно, я уже в нарте задубел.

А уезжали из тепла, «Беломор» гаснет, спички нужно иметь.

Приехали в Парижево, там гул от недожитого, развалины. Ты же, Серёга, сам это строил, знаешь всё.

А покурить? Спирту ещё было немного. На морозе, хоть залейся, не берёт. Ты давай тальник ломать.

Лучше б дома остались.

Зажигалка в кармане, в ней сжиженный газ. Рукавицы не снять уже. А ты всё тальник ломаешь. У тебя это просто. Это ж твоя изба. Вы там детей растили.

Три семьи. Кого-то и нет уже.

Но место хорошее.

– Серёж, я кончаюсь. Дай покурить напоследок.

Вспомнил я тогда историю про двух корешей. На Большой Тонé они жили, на лёднике, рыбу принимали и складировали. Боялись сгореть, поэтому, когда запивали, печку не топили.

– Серёга, спичку дай мне, щас замёрзну. Губы уже не гнутся.

И спали они, когда пили, возле печки. Не, один на печке, другой на дровах. Так теплее.

– Серый, бляха-муха, газ, блин, замёрз.

Ну и стали печку топить, хоть и пили.

– Да нет у меня, Серёга, спичек!

Полыхнула тоня, один в трусах обгорелых в ночь. Не, не в ночь, в оранжевый сполох.

Вот, думаю, на хрен оно мне нужно было, спички дома забыть, лоханулся, как негр.

А возле тони посёлок, все на пожар. Да нечем его на Северах залить, вода же на девять месяцев замерзает.

А я уж и папиросу достать не могу, портсигар-то пластмассовый, индаптечка оранжевая.

Как бы на печку залезть.

Стоят рыбаки вокруг пожара в лужах. В трусах который, плачет: – Колька, мать, три рубля тебе должен... Где ты?

– Серёга, я пойду на печку лягу!

Стоит Ваня и плачет: – Ко-ооля, шарф у тебя такой красивый был... И ладно уж, заначка от тебя была. Ты б ни за что не догадался.

Плачет.

Народ шапки снял, чо-то невесело.

Я уже засыпать, замерзать начал. Пока стоя. А ты, Серёга, всё тальник таскаешь к печке.

– Серёга, дай, блин, огня...
Тут Колька босой из огня вышел:
– Я тебе, гад, эту заначку ни за что не прощу!
Серёжа, вот и огонь уже...
И где же ты его взял?

Норильск, шоль – август, 2016

ТАК ПРОВОЖАЮТ САМОЛЁТЫ

Николаю Мацневу

Вы когда-нибудь провожали самолёты? Не жену, не любовницу до арки металлоискателя, или даже до накопителя, – чмок-чмок, и полетела, – а сам самолёт? Настоящий, грузовой самолёт полярной авиации! С двумя огромными двигателями наверху. Его потому и называют – «чебурашка», движки у него, как уши смотрятся. А крылья, как у полярной крачки, которая летает два раза в год с полюса на полюс, – мощные, дугой выгнутые, но лёгкие, изящные, – несут короткое толстое тело, будто прицепленное снизу, и в нём груз. На расстояние в пять тысяч километров – восемь тонн коммерческой загрузки! И всего с одной дозаправкой. Это немало.

Лапы тоже сильные, крепкие, чтоб держать выпуклый серебристый живот, не дать ему растечься по бетонке.

Взлетает он легко, после небольшого разбега уверенно набирает высоту и, красиво накренившись, уходит за горизонт. Ах, чёрт, просто хочется рассматривать его! Глаз на нём отдыхает!

Но не будем, конечно, сравнивать тут нашу любимую «чебурашку» с другими самолётами, прошлыми, что сошли уже навсегда с северных авиалиний, – они своё дело сделали и встали, легендарные, на постаменты. И с настоящими тоже, «антеями», «геркулесами» и прочими силачами, сравнивать не будем, – это другая весовая категория. И по затратам – тоже.

Главное, эта машина – последнее, что досталось Северу от государства, затеявшего на полном ходу поворот на сто восемьдесят курсовых градусов, – перевернулись, врезались, распались на куски. Северные окраины наши, покинутые первопроходцами и героями пустынных горизонтов, – кто-то же остался? – отделились настолько, что Европа, Азия и Америка, недостижимые раньше, пришли в наши центральные города и вломились в наши квартиры, и связывать их, – окраины, я имею в виду, – с миром пришлось опять-таки американцам, лётчикам и тоже героям, поклявшимся возить через океан толпы новоявленных коммерсантов, бизнесменов, из которых каждый второй – функционер с комсомольским стажем.

И за смешные, как сейчас говорят, деньги! Хотя это совсем не смешно.

Представляете: бесплатно, и пока хватит сил! То есть просто жизнь на это положить! Нести на крыльях новую удачу сквозь пургу и туманы. А что же! Это благодарное и достойное занятие!

Наши северные люди это понимают. Для них нет в этом ничего необычного, особенного. Неписанный закон прост: захотели – сделали!

Романтики!

Но романтики и те, кто остались жить в полуразрушенных посёлках и других населённых пунктах, настолько редких, рассеянных на гигантских территориях, что их названия можно встретить даже на глобусе! Так территория казалась заселённой. И остались они тоже, между прочим, один на один с пургой, туманами и морозами. И не просто так, хлеб есть, а работать, пользу приносить.

Когда первые серийные «чебурашки» сошли со ступеней, их необходимым образом подвергли лётным испытаниям в «материковских» условиях и отправили эскадрилью в количестве пяти штук на северо-восток Якутии.

Давайте, птички, оперяйтесь! Пришло ваше время!

Настоящие испытания на живучесть и начались с этого трансконтинентального перелёта. Летели с семьями, с имуществом, мебелью и другими народно-хозяйственными грузами. Везли запчасти для самолетов, для своего и местного начальства – свежие овощи и легковые автомо-

били... До цели долетели четыре. Одна из перегруженных птичек, борясь на взлёте с земным притяжением, не справилась и врезалась в поросшую кондовой тайгой гору...

Склоняю голову и скорблю...

Возможности машины ещё не были точно определены.

Они погибли не зря...

И вот, экипажи «чебурашек», состоящие из наших простых северных романтиков, пережили всё-таки трудные времена: отсутствие топлива, зарплаты, нормальных бытовых условий, нехватку денег у государства и у народа.

Предпринимателей-то настоящих не было. А нет заказчика, нет и денег! А если по-простому: внимания, братцы, не хватало! Нам же на самом деле совсем немного нужно от государства.

Но, повторяю, пережили лихие времена.

Наступили другие. Весёлые.

Теперь, прилетел, скажем, экипаж в какой-то южный город, приземлился. Командир берёт набитый деньгами портфель и идёт платить: за посадку, за заправку, за стоянку, за воздух, за солнце над головой. Кончился портфель, – сиди, отдыхай, пока следующий не подвезут. На эти деньги не одни «Жигули» можно было бы купить, но все эти некупленные автомобили и непостроенные коттеджи ушли в ничто, в копилку без дна.

А по месту, по Северу то есть, работы почти не было. Экспедиция «Северный полюс» закончилась, полярные станции ликвидировали, позакрывали; кресла, чтоб под пассажирский вариант «чебурашки» переделать, купить было не на что. Так, стояло это чудо советской техники и потихоньку старело. Любой механизм, – самолёт ли, корабль, даже велосипед, – должны работать. Как только люди оставляют его, он начинает болеть, тосковать, ржаветь и – умирает!

Но – пережили и это. Стали заказчики появляться, – туда слетай, сюда слетай, привези то – не знаю что, но привези! Забогател народ! Пилоты-лётчики опять себя людьми почувствовали, накапывая и обобщая лётный опыт. Разворот в плечах и блеск в глазах появились.

Молодёжь потянулась, – новые, стало быть, романтики пришли. Пилоты неоперившиеся, борт-инженеры, операторы. Последние на морском флоте называются «суперкарго» и там, понятно, счёт идёт на тысячи, десятки тысяч тонн, то есть перевести с английского можно как «отвечающий за размещение и перевозку большого количества груза», а здесь, в авиации – всего на тысячи килограмм. Но, всё равно, груз надо разместить правильно, чтоб судно, в данном случае воздушное, не испытывало крена и дифферента. Помните? – «...во избежание нарушения центровки самолета...». А в новых условиях без таких «отвечающих» вообще не обойтись. Вы это потом поймёте.

А-а, сейчас хотите?

Вот то-то! Сколько самолётов на хвост посадили, когда неуправляемые пассажиры к выходу толпами бежали, лишь бы побыстрее на землю ступить.

Кроме того, груз еще надо посчитать и сделать, если уж начистоту, контрольное взвешивание, закрепить его правильно, обтянув специальной сеткой. В общем, дело это непростое и очень ответственное, извините за подробности.

Звонит мне как-то перед Новым Годом старый друг с берегов великой русской реки Колымы. Слышно, как всегда, плохо, и говорить нужно по очереди, как по рации, иначе вопросы накладываются на ответы, – таковы российские расстояния.

Говорит он мне: придёт на подмосковный аэродром самолёт за продуктами к празднику, не сможешь ли моему знакомому из экипажа собрать посылочку для цинготных родственников, а я, мол, рыбки тебе на строганину пришлю.

Нет вопросов, отвечаю. Даже если и рыбки не пришлѐшь. Мне, говорю, всегда интересно с северянами пообщаться, старыми или новыми, и помочь тоже, жизнь у вас, говорю, непростая, да и, если вспомнить, мы с тобой, старина, никогда дружбу на «ты мне, я тебе» не мерили.

Вот так отвечаю, без лишних слов.

Через несколько дней раздаётся звонок, и немного странный, как бы замороженный, голос говорит:

Я Дима звоню от такого-то с берегов Колымы можем ли мы закупиться продуктами на каком-нибудь оптовом рынке я посылку для вас привѐз.

Договорились мы, где встретимся, я прицеп к легковушке прицепил и поехал. А прицеп у меня непростой, с усиленными рессорами. Одна ездка, если под жвака-галс набивать, на тонну точно потянет.

Ну, так и сделали, набили и прицеп, и машину.

Первым делом, конечно, водка, коньяк, шампанское, вино, – по-северному, «витамины Ю». Немного пива в банках, – с него навара никакого, но как изюминка – пойдѐт. Конфеты-манфеты. Колбаса деликатесная, всякая разная, окорочка американские в плоских картонных ящиках по пятнадцать килограммов, овощей-фруктов, – каждый помидор или апельсин в отдельную бумажку завёрнут. И под конец – мороженого несколько коробок. Оно хоть и лёгкое, но места много занимает. Я про себя подивился, но, для детей, думаю, северных, обделѐнных, тоже что-нибудь надо, не только же витамины Ю!

А Дима этот оказался человеком немногословным, если не сказать, почти немым. А по тому, как Дима следил за моими губами во время разговора, я догадался, что он глуховат, слышит плохо. А если всё вместе собрать, то получится – глухонемой. Ну, мы как-то общаемся, прекрасно друг друга понимаем, в основном знаками и междометиями: «во!», «ага!», «эх!», «на!» и так далее, вплоть до общепринятого «б!..» с множеством оттенков.

Димина речь потому и казалась замороженной, – как будто он губами отмороженными говорил, – что сам себя не слышал, и речь была без интонаций, механическая.

Отвезли мы это всё ко мне, рассовали по углам самое ценное, из ящиков со спиртным целый штабель получился, такого количества даже в квартире просто так не спрячешь, колбасу с мороженым на балкон, и Дима уехал, сказав, что «день вылета назначат позвоню».

Дима, как я сразу же понял, человек ответственный и организованный, через пару дней утром позвонил, попросил нанять «газель» и ехать по такому-то адресу.

У подъезда я застал такую же гору ящиков, что привѐз в кузове «газели»: телевизоры, видики, телефоны, центры музыкальные и так далее. Короче, здравствуй, китайская Южная Корея!

Загружаем мы это всё в грузовичок, – как раз полная загрузка получилась, тонны под полторы, – видите, везде для «суперкарго» работа найдѐтся! И трогаемся в сторону аэродрома.

Приезжаем: на пяточке, у ворот в небо, полно машин, и легковых, и грузовых. Все газуют, ждут начала погрузки. Мы скромно так в сторонке встали со своей «газелью». И тоже начали ждать с нетерпением.

Неужели, думаю, вся эта автоколонна нацелилась на нашу славную «чебурашку»? Затопчут же! Может, там ещё какие-то самолѐты под парами стоят? Аэродрому же выгодно принимать побольше коммерческих рейсов, живые ж деньги!

Тут подходит ко мне парень такой бритоголовый, внимательно на меня смотрит и говорит:

Где-то я тебя видел, уж больно лицо у тебя знакомое, братан.

Так я ж, дорогой ты мой, десять лет на правом берегу Колымы прожил, – отвечаю ему. – А сколько нас там всего было-то, друг, примелькались лица-то!

А-а, ну тогда понятно, тогда ладно, земля!

Заулыбался и отошёл.

Интересно, а если бы нас там, на Севере, больше было, или бы он лицо моё не вспомнил? Та-ак, думаю, значит, грузовики эти тоже наши, вернее, наоборот, – как раз «не наши», а конкурентов. Самолёт-то, понятное дело, не резиновый. Упадёт, мячиком прыгать не будет. Стемнело. Ждём.

Дима куда-то бегаёт, собирает информацию. Сколько груза у заказчика, сколько у бластных, сколько пассажиров было и сколько обратно полетит, и все, понятно, с грузом. То есть занимается своей работой, ведь он как раз и есть тот самый «суперкарго», отвечающий за крен, дифферент и полётный вес.

Командир только решение принимает, на основе полученных данных.

Лицо у Димы, – так, между прочим, – всё больше сереет, и молчать он уже начал как-то обречённо. Мне тоже не по себе сделалось: колбаска, говорите, деликатесная? Окорочка американские? Мороженое?! И в край Вечного Холода?!

Ждём, но уже сидя на иголках. Как перед дракой, – быстрее бы уж, что ли, началось! Нервы не выдерживают! Вспомнил я, конечно, сразу, как мы грузили однажды вертолёт, «восьмёрку». Забили её, бедную, под самую крышу, уже непонятно, куда самим садиться, а покойничек Витя Ерофеев ходит кругами вокруг командира и собачьими глазами в лицо ему заглядывает: «ну ещё ящичек с тушёнкой, ну ещё бочечку с бензином». Командир стоит, спичку жуёт: «Грузи-грузи!». А лететь надо было на острова Новосибирского архипелага, сто километров над морем Лаптевых.

«Грузи-грузи!».

Командир знал, что говорил. Мы долетели, и по дороге забрали со Святого Носа ещё и две резиновые лодки по сто пятьдесят кило каждая и двухсотлитровую бочку бензина. Елозили над площадкой, ловили «подушку», с трудом взлетели, но долетели. Вернее, нас довёз командир, но когда мы увидели сквозь кисейные облака неясные очертания земли, поняли, что вполне могли от чего-то отказаться и не перегружать вертушку. Не думаю, что нам повезло, просто командир наш тоже был романтиком и настоящим лётчиком! И ещё он был Государевым человеком, простите за пафос. Ведь недра в любой стране принадлежат Государству.

Делай, как можешь и как умеешь, на благо Ему, но не мешай другим делать больше и лучше!

Да, витал, витал дух Северов над нами и газующей автоколонной, перемешиваясь с выхлопом. Честно говоря, вот за такие моменты я люблю встречать и провожать самолеты полярной авиации... Чувствуешь себя по-прежнему одним из...

Неожиданно люди и грузовики зашевелились, откуда-то вынырнул Дима с осунувшимся лицом, и мы первыми подъехали к воротам. Ай да «суперкарго»!

Солдат с автоматом проверил пропуск, подсвечивая себе фонарём, и выдохнул морозным воздухом:

– Проезжай!

Как-то слишком быстро наша «газель» свернула с центрального проезда в темноту. Лучи фар прыгали вверх-вниз, иногда упираясь в чугунно нависшие небеса. Разбитая деревенская дорога шла по лесу, нас болтало, словно мы ехали по танковому полигону, в заднюю стенку кабины что-то с грохотом стучало. Боюсь, что это были телевизоры.

Цепляясь мостами за гребень, «газель» выползла на опушку к невероятно высокому глухому забору, наклонённому в нашу сторону.

Дима, как всегда, молчал, только тыкал пальцем водителю, куда ехать.

Наконец, в заборе возник неширокий пролом, танковая трасса – или тропа контрабандистов? – змеёй ныряла в него, а вслед за ней нырнули и мы.

И оказались на краю лётного поля. В тридцати метрах от пролома стоял наш пузатый и крылатый Дед Мороз, перевозчик праздничной закуски.

Дима сразу побежал в самолёт, и через несколько минут щиток под хвостом уехал вверх, аппарат с тихим жужжанием опустилась, в свете плафонов голливудским героем возник невозмутимый «суперкарго» и махнул рукой.

Машину подогнали к аппарели, и мы с водителем стали сгружать на неё ящики с коньяком и водкой.

Тем временем Дима начал лихорадочно вскрывать пол внутри фюзеляжа. Он складывал пайолы гармошкой и ставил их вдоль стенки, к иллюминаторам. Обнажились дырчатые шпангоуты, показались толстые жгуты разноцветных проводов, какие-то релюшки, пускатели, коммутаторы...

Потом Дима схватил первый ящик и опустил его между шпангоутами, потом ещё один, и ещё. Он перешагивал через металлические рёбра, высоко поднимая ноги. Ящики вставляли точно в размер, и количество их на аппарели быстро убывало.

Чёрт возьми, вот триумф советского самолётостроения!

Мы подавали спиртное конвейером, и почти закончили это дело, когда я увидел толстую тётку в норковой шубе и бесформенной мохеровой шапке, в которую обычно подкладывают для формы ещё что-то, вроде старых колготок. На лице у неё было написано изумление, а позади стоял до верху нагруженный «зиллок».

Я понял, что это – заказчик.

Который оплачивает рейс.

Который стоит как раз, как две малолитражки.

– Э-э... – сказала тётка. – Э!

В свете далёких прожекторов блеснули её золотые зубы.

Вот оно, родное! Северное! Узна-ал, узнал своих по зубам и мохеровому головному убору.

– Ты не знаешь, как его зовут?! – грозным голосом спросила она меня.

– По-моему, Дима, – ответил я, пытаясь выиграть время. Почти все ящики сидели уже по своим местам, как воробушки в гнёздышках. – Это же борг-оператор, – резонно добавил я.

– Э-эй! – заревела тётка, подняв вверх руку. – Может, хватит уже, оператор?!

Глухой Дима, не поднимая глаз, стал укладывать пайолы. Видимо, у него тут же обострились какие-то другие чувства, например, шестое, то есть «чую ж...». На аппарели осталось два ящика, которые Дима утащил куда-то вглубь салона.

Первый тайм мы выиграли.

Пока грузчики таскали мешки с мукой и сахаром, мы перекурили в сторонке. Кстати, мешок муки – 80 кг, сахара – 50.

Гружёные машины продолжали подъезжать. Прискакали две «газели», видимо, блатные с бритоголовыми водителями, пришла «термичка» заказчика, вернулся снова загруженный «зил». Покряхтывая под мешками, – время, время! – грузчики сновали в самолёт и обратно. Один ящик разбился, из него на снег высыпались ананасы с вечнозелёными хохолками. Как северные помидоры.

Все сидели по своим машинам или, как и мы, стояли, засыпаемые снегом, покуривали с мрачными лицами вдоль невероятного забора, который, похоже, выполнял ещё и снегозащитную функцию.

Погрузкой командовала Мохеровая Шапка и зорко следила за контрабандой. Дима размещал груз внутри самолёта и мелькал то тут, то там, но подойти к нему было невозможно, и не было никакой лазейки, чтоб засунуть внутрь что-либо из «нашего».

Вдруг он чёртом выскочил из темноты откуда-то позади нас и прошелестел своим механическим голосом, словно сквозь зубы его шипел сжатый воздух:

– Бери окорочка пошли со мной.

Я взял две коробки подмышки и непринужденно двинулся к самолёту. Дескать, гуляю я тут, несу авиационный инструмент или тару пустую выношу. Дима взял несколько коробок с мороженым.

Мы зашли на тёмную сторону фюзеляжа, куда не попадал свет прожекторов, и «супер-карго», подёргав среди заклёпок какие-то защёлки, открыл на гладкой металлической поверхности лючок. За ним оказалась довольно объёмная полость, в которую я, оглядываясь по сторонам, засунул две свои коробки, потом сходил ещё за двумя, и так далее. Дима открывал всё новые и новые лючки, куда уложился почти весь морозоустойчивый груз.

Один лючок оказался занятым, и Диме это очень не понравилось, он что-то прошипел и захлопнул его.

Потом мы подошли к гондоле, в которую прячется шасси. Там, среди гидравлических трубок и телескопических амортизаторов борт-оператор уверенным движением выдернул какую-то затычку и стал запихивать туда, в темноту, коробки с мороженым.

Господи, я представил, как Ты будешь стараться помочь экипажу в борьбе с неубирающимся шасси или, наоборот, постараться выпустить его, и внутри у меня всё похолодело, словно я сам находился в этом лючке на высоте десяти тысяч метров.

– Слушай, Дим, а там ничего... это... не заклинит?

– Иди к машине как дам знак кидайте всё подряд никого не слушайте ничего там не заклинит.

Вот! Не заклинит и всё. Не может заклинить, потому что – проверено, потому что советское – самое надёжное.

– А сколько всего будет загрузки, сколько там этих помидоров-то?

Хотя я уже и сам примерно представлял, что вес аппарата приближается к критической массе.

«Суперкарго» долго шевелил во тьме своими отморозенными губами и пальцами, потом ответил:

– Около двенадцати главное взлететь всё будет в порядке.

И я вернулся к машине, а Дима ещё несколько раз уходил к оседающему гиганту с сумками и кульками, как в ночную разведку за линию фронта.

Мохеровой Шапки видно не было, – наверное, загрузила своё и уехала оформлять документы. Тут уж «Газели» облепили самолёт, как гиены загнанную антилопу, какие-то люди таскали мешки и коробки в салон, уже до верху набитый грузом, обтянутым сеткой. Как ни странно, для всего находилось место!

По толпе провожающих прошёлся лёгкий шепоток: «Экипаж приехал!!!».

Теперь-то, подумал я, всё должно как-то упорядочиться, нельзя же так грузить воздушное судно, у которого впереди пять тысяч километров возбуждённой тропосферы. Как же крен и дифферент, дорогие мои?!

Одна из «газелей», недовольно урча, отползла в сторону, уступив место более сильному противнику.

С экипажем пришло две машины: «газель» и «волга», обе на прогнутых рессорах. Командир, второй пилот, штурман, радист, борт-инженер. И ещё один, которого все называли по имени-отчеству.

Я тоже знал его. Это был так называемый пилот-наставник, двадцать лет бороздивший небо Арктики вдоль и поперёк, снизу вверх и сверху вниз, и по диагонали, и по окружности. Много-много лётных часов. Буквально на износ, по-северному.

Ас.

Высокий, спокойный, уверенный в себе человек с сединою на висках. Поверх форменного кителя – гражданская поношенная куртка, и на голове барашковая шапка с козырьком, чтоб солнце не слепило.

Тихо и неторопливо, по несколько раз на дню, в течение недели, пока заказчик собирал по продовольственным базам загрузку, он ходил на местный рынок с клетчатой сумкой на колесиках и возил.

Что возил?

Да не важно, что! Заслужил, и всё!

Кап-кап, – привёз.

Привёз, – кап-кап.

Таких асов в эскадрильи было несколько человек, и каждый из них имел право раз в месяц куда-нибудь слетать. Поучить, понаставлять молодёжь. Может быть, даже провести какие-то учения, на земле или прямо в полёте. Помочь принять решение в экстремальной ситуации, или даже создать её, чтоб потом – помочь.

Экипаж тоже чувствовал себя спокойно, уверенно, – молодёжь быстренько закидала свои полторы тонны и пошла готовиться к взлёту. А вот блатные как-то излишне суетились, долго искали укромные уголки, куда бы что сунуть, от глаз спрятать. Они же не специалисты, как «суперкарго». А сразу, вот так, на бегу, этому не научишься.

Возились, короче.

– Коля, – спокойно сказал пилот-наставник, – пойдёшь движки включи. Может, побыстрее дело-то пойдёт.

Коля, второй, пошёл и включил. Принял наставление к действию.

Все, конечно, тут же забегали, кричат что-то друг другу, руками машут, но ничего не слышат, – двигатели-то режут-свистят, ветер ураганный дует из турбин.

Поднялась полярная позёмка.

Отовсюду, из темноты, от машин, согнутые фигуры потащили уже всё подряд, как Дима и говорил. Мы тоже не зеваем, тащим прямо на аппарель. Но ставим немного как бы сбоку, скромно осторожно. Телевизоры с видеками вообще на снег поставили, мол, не наши, но если что – обратно заберём, до следующего рейса.

А чуть в отдалении, под крылом, стоит такая маленькая сумочка болоньевая, и в ней ящичек. Ящичек стоит, а сумочка вокруг него бьётся, вот-вот улетит, разорвётся в клочки. Но не улетает, – ящичек не даёт. Думаю, в нём килограммов двадцать-то было!

Восемь блатных пассажиров сидят на ящиках внутри перед аппарелью и тихо смотрят на остающихся, с жалостью, похоже: вам-то не повезло, вас-то не взяли, вы, значит, остаётесь, а мы уже там, за чертой, почти в небесах.

Откуда-то сверху, с груза, сваливается борт-оператор Дима и торжественно подползает к пульту и включает аппарель на подъём.

Жужжание есть, а подъёма нет.

Ещё раз.

Подъёма нет, а жужжание такое, как будто батарейки кончились. У-у-у... И тишина.

Вокруг ревет, снег летит, все стоят, не знают, что делать.

И тут, перекрывая всю эту свистопляску, раздаётся зычный командный голос пилота-наставника:

– А ну, парни, взялись!!!

И все, кто был, мешая друг другу, ухватились за эту чёртову аппарель, уставленную, как на вокзале, вещами, и дружно воткнули её на место.

Клац!

Дрын-нь. Сорвалась с крючков!

А ну, ещё!!!

Клац!

Дрын-нь...

А ну!!!

Клац!

Дрын-нь...

Устали! Положили!

Дима сверху помогал, сидя на этой самой аппарели, делал зверски озабоченное лицо.

Когда опускали, быстро убрался.

Пилот-наставник немного подождал и снова:

– А ну, так тя!!!

Клац!

Повисела немного. Дрын-нь...

Димина голова снова в прорези появилась, и он, глядя куда-то в толпу под хвостом, прошептал кому-то одними губами – всё равно не слышно ничего, но все поняли:

– Топор неси.

– А где он?! – прошелестело снизу.

– В туалете.

Этот кто-то шустро побежал в туалет, и через минуту Дима уже ловил хороший такой тяжёленький плотницкий топор.

Тут же сверху раздалось: – Бам-м! Бам-м!

По стратегическому металлу! По крючку этому, мля! Ненавистному.

У борт-оператора лицо было, как у Чарли Чаплина, когда он сам с собой из-за занавески дрался. И даже по лицу себя бил. У оператора лицо было даже более осмысленное, чем у Чарли. Ведь бил он наотмашь топором. По маленькому такому крючочку.

Хе-хе, повисло!

Повисело.

Дрын-нь...

Клац! Бам-м! Бам-м! Дрын-нь...

Клац! Бам-м! Бам-м! Дрын-нь...

Музыка, едрёнь! Сюита «Полёт валькирии»!

– О-пус-кай! – это, конечно же, пилот-наставник. На то он и наставник, и пилот, чтоб всегда вовремя найти единственно правильное решение!

Аплодисменты.

Наставник сам забрался на проклятую аппарель, внимательно осмотрел щель между нею и корпусом, и... и вынул оттуда расплюснутую такую болоньевую сумочку. Может быть, ту самую, тут я душой кривить не буду. Но – расплюснутую!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.